

Альбер Камю

Изгнание и царство

Тощая муха откуда-то появилась в автобусе, хотя все стекла были подняты. Она бессильно носилась взад и вперед, и в этом бесшумном кружении было что-то странное. Жанин потеряла ее из виду, потом заметила, как муха опустилась на неподвижную руку Марселя. Было холодно. Муха подрагивала при каждом порыве ветра, со скрипом швырявшего песком в стекла. Раскачиваясь, громыхая железной обшивкой и рессорами, автобус катил вперед, с трудом продвигаясь в жидким свете зимнего утра. Жанин посмотрела на мужа. Клочковатые седеющие волосы, низко растущие над узким лбом, широкий нос и неправильной формы рот придавали ему сходство с надувшимся фавном. На каждой выбоине шоссе Марселя бросало к Жанин, потом отшвыривало, он тяжело оседал, расставив колени и неподвижно глядя перед собой, по-прежнему вялый и отсутствующий. Только толстые, лишенные растительности руки, выглядевшие еще короче оттого, что серые фланелевые рукава пиджака сползали на манжеты рубашки и прикрывали запястья, казалось, жили. Они так крепко держали полотняный чемоданчик, зажатый между коленями, что, по-видимому, не ощущали робких прикосновений мухи.

Внезапно волны ветра сделались слышнее, и песчаный туман, окружавший автобус, стал еще плотнее. Пригорши песка, будто брошенные чьей-то невидимой рукой, забарабанили о стекла. Муха зябко повела крылышками, присела на лапках и взлетела. Автобус замедлил ход и, казалось, вот-вот остановится. Вскоре ветер как будто утих, туман слегка поредел и автобус снова набрал скорость. Световые окна прорезали пелену пыли, скрывавшую пейзаж. За стеклами промелькнули две-три хилые белесые пальмы, словно вырезанные из жести, и тут же исчезли.

- Ну и край! - сказал Марсель.

Автобус был полон арабов; закутавшись в свои бурнусы, они делали вид, будто спят. Некоторые сидели, поджав под себя ноги, и их сильнее тряслось при движении машины. Их молчание, их равнодушие начали тяготить Жанин; ей казалось, что уже много дней путешествует она с этим безмолвным эскортом. А между тем прошло всего часа два с тех пор, как автобус отъехал на заре от конечного пункта железной дороги и покатился в холодном утреннем свете по унылому, каменистому плато, которое тянулось ровной полосой вплоть до красноватого горизонта. Но поднялся ветер и понемногу поглотил эти бесконечные просторы. За окнами больше уже ничего нельзя было разглядеть; затихнув один за другим, пассажиры молча плыли в этом призрачном свете, напоминавшем белую ночь, и только время от времени вытирали губы и глаза, воспалявшиеся от песка, который просачивался в машину.

- Жанин! - окликнул муж. Она вздрогнула, услышав свое имя, и в который раз подумала, как это, в сущности, нелепо, что ее, такую большую и грузную, зовут Жанин. Марсель интересовался, где чемоданчик с образцами. Она пошарила ногой под скамейкой и, нашупав какой-то предмет, решила, что это и есть чемоданчик. Нагибаться ей было в самом деле трудно - сразу же начнется одышка. А ведь в школе она была первой по гимнастике, у нее было такое легкое дыхание. Сколько же лет прошло с тех пор? Двадцать пять. Двадцать пять лет, которых словно и не было, ведь казалось, только вчера она выбирала между свободной жизнью и замужеством, вчера еще с тоской и страхом думала, что ей, возможно, предстоит в одиночестве встретить старость. Нет, она не была одна - студент факультета права, ходивший за ней по пятам, сидел теперь с ней. В конце концов она согласилась пойти за него, хотя он был, пожалуй, маловат ростом, и ее немного раздражал его резкий, жадный смех и черные глаза навыкате. Зато ей нравилась мужественная воля к жизни, присущая ему, как и всем французам этого края. Нравился ей также его озадаченный вид, когда события или люди обманывали его ожидания. Но главное - ей нравилось быть любимой, а он совсем избаловал ее своим вниманием. Он столько раз давал ей почувствовать, что она для него существует, что в конце концов заставил ее поверить, что она и в самом деле существует. Нет, она была не одна...

Громко сигналя, автобус пробивался сквозь невидимые препятствия. В машине, однако, никто не шевелился. Жанин вдруг поймала на себе чей-то взгляд и, повернувшись, посмотрела на соседнюю скамейку, расположенную в том же ряду через проход. Нет, это не был араб, и она удивилась, что не заметила его раньше. Одетый в форму французских колониальных войск Сахары и серое полотняное кепи,

загорелый и длиннолицый, с острыми чертами, он чем-то напоминал шакала. Светлые глаза пристально и вроде бы угрюмо изучали ее. Она покраснела и поспешила отвернуться к мужу, который сидел, по-прежнему глядя прямо перед собой, в туман и ветер. Она закуталась в пальто. Но перед ее взором все еще стоял французский солдат, длинный и тощий, до того тощий, что казалось, будто он сделан из чего-то очень хрупкого и ломкого и под его плотно пригнанным френчом - лишь кости да песок. Только тут она заметила худые руки и прокаленные лица арабов, сидевших впереди нее, и подумала, как свободно, несмотря на громоздкие бурнусы, они сидят на скамейке, где едва умещалась она с мужем. Жанин подобрала полы пальто. Не такая уж она толстая, скорее дородная, крупная и пышная, все еще соблазнительная - она чувствовала это по взглядам мужчин, - со своими светлыми, чистыми глазами и каким-то детским лициком, не вязавшимся с этим большим телом, от которого - она знала - веяло теплом и покоем.

Нет, все шло совсем не так, как она предполагала. Когда Марсель решил взять ее с собой в эту поездку, она поначалу отказывалась. Он уже давно подумывал об этом путешествии, пожалуй, с самого конца войны, когда дела снова вошли в нормальную колею. До войны скромный магазин тканей, который перешел к Марселя от родителей, когда он бросил юридический факультет, позволял им жить довольно сносно. В молодости на побережье так легко быть счастливым. Но он не любил никаких физических усилий и очень скоро перестал возить ее на пляж. Их маленькая машина покидала город только ради воскресной прогулки. Все остальное время Марсель предпочитал проводить среди разноцветных тканей своего магазинчика, притулившегося в тени аркад этого полуутуземного, полуевропейского квартала. Жили они над лавочкой в трехкомнатной квартире с арабскими обоями и мебелью стиля Барбеса. Детей у них не было. Так проходили годы - в сумраке наполовину закрытых ставен. Лето, пляжи, прогулки, даже небо - все было далеко. Марсель, по-видимому, ничем не интересовался, кроме своей торговли. Она начала догадываться, что его единственной страстью были деньги, и ей это было не по душе, она сама толком не знала почему. Ведь в конце концов она этим пользовалась. Он не был скрупулезным, напротив, - щедрым, особенно когда это касалось ее. «Если со мной что-нибудь случится, - говорил он, - ты будешь обеспечена». И в самом деле, надо же обеспечить себя в случае нужды. Но все остальное, помимо самых неотложных нужд... Как тут обеспечить себя? Вот что смутно ощущала она время от времени. А пока помогала Марселя вести конторские книги, иногда подменяла его в магазине. Труднее всего приходилось летом, когда жара убивала даже сладкое томление скуки.

И вдруг, в самый разгар лета, война, Марсель мобилизован, затем признан негодным, нехватка тканей, застой в делах, пустынные и жаркие улицы. Если б теперь что-нибудь случилось, она бы уже не была обеспечена. Вот почему, как только на рынке снова появились ткани, Марсель задумал объехать деревни верхнего плоскогорья и юга страны, чтобы, не прибегая к услугам перекупщиков, продавать свой товар непосредственно арабским торговцам. Он захотел взять ее с собой. Она знала, что дороги в плохом состоянии, у нее была одышка, и она предпочла бы дождаться его дома. Но он был упрям, и она согласилась - слишком много энергии понадобилось бы для отказа. И вот теперь они ехали, но, по правде говоря, все было совсем не таким, как ей рисовалось.

Ее пугали жара, тучи мух, грязные, пропахшие анисовой водкой гостиницы. Она и представить себе не могла этого холода и режущего ветра, этих чуть ли не ледниковых плоскогорий, загроможденных валунами. Она еще мечтала о пальмах и мягким песке. Теперь она знала, что пустыня - это нечто совсем другое, только камень и ка-

мень; повсюду - и в небе, где не было ничего, кроме холодной и скрипучей каменистой пыли, и на земле, где меж камней пробивались лишь сухие травинки. Внезапно автобус остановился. Шофер пробормотал что-то на этом языке, который она слышала, не понимая, всю свою жизнь. «Что случилось?» - спросил Марсель. Шофер сказал - на сей раз по-французски, - что песок, должно быть, забился в карбюратор, и Марсель опять принял клясть этот край. Шофер засмеялся во весь рот и заверил, что это пустяки, что он прочистит карбюратор и можно будет ехать дальше. Он открыл дверцу, холодный ветер ворвался в машину и сразу осипал лица пассажиров колючей песчаной пылью. Арабы закутались в бурнусы по самые глаза. «Закрой дверь!» - заорал Марсель. Шофер, посмеиваясь, вернулся к кабине. Он не спеша достал инструменты из-под щитка, опять вышел и пропал, растворившись в тумане где-то впереди машины, так и не закрыв дверцу. Марсель вздохнул.

- Уж поверь мне, он ни разу в жизни и мотора-то не видел.

- Оставь, - сказала Жанин.

Внезапно она вздрогнула. На насыпи, почти вплотную к автобусу, стояли какие-то неподвижные, закутанные в бурнусы фигуры. Из-под капюшонов, сквозь густые сетки, прикрывавшие лица, видны были только глаза. Бог весть откуда возникнув, они

Камю Альбер Изгнание и царство filosoff.org
безмолвно разглядывали путешественников.

- Пастухи, - сказал Марсель.

В машине царила тишина. Пассажиры сидели, опустив головы, и, казалось, вслушивались в голос ветра, вовсю разгулявшегося на этих бескрайних просторах. Жанин вдруг поразило почти полное отсутствие багажа. На вокзале шофер закинул их чемодан и несколько тюков на крышу машины. А в самом автобусе в боковых сетках лежали только небольшие плоские корзины и узловатые палки. Как видно, эти жители юга путешествуют налегке.

Но тут вернулся шофер, все такой же бодрый. Из-под сетки, которой он прикрыл лицо, поблескивали смеющиеся глаза. Он объявил, что автобус отправляется. Он захлопнул дверцу, ветер притих, и стало отчетливее слышно, как бьется в стекла песок. Мотор кашлянул и заглох. Настойчиво понукаемый стартером, он наконец ожил и взревел, подчиняясь шоферу, изо всех сил нажимавшему на педаль. Громко всхлипнув, автобус тронулся с места. Над толпой оборванных и по-прежнему неподвижных пастухов взметнулась чья-то рука и исчезла где-то позади в тумане. И сразу же машина начала подпрыгивать - дорога стала еще хуже. Арабы монотонно раскачивались в такт движению. Сон совсем было сморил Жанин, как вдруг перед ней появилась желтая коробочка с пастилкой из пальмового сока. Солдат-шакал улыбался ей. Она нерешительно взяла пастилку и поблагодарила. Шакал сунул коробочку в карман, и улыбка исчезла с его лица, словно он проглотил ее. Теперь он смотрел прямо перед собой на дорогу. Она повернулась к Марселью, но увидела лишь его крепкий затылок. Он глядел в окно на сгустившийся туман, который поднимался над оползней насыпью.

Они ехали уже много часов, и жизнь в машине замерла, придавленная усталостью, как вдруг снаружи раздались крики. Хлопая в ладоши и крутясь волчком, за автобусом вприпрыжку бежали дети в бурнусах. Машина катилась теперь по длинной улице, вдоль которой тянулись низкие дома; они въехали в оазис. Ветер дул с прежней силой, но стены задерживали песок, и поэтому стало чуть светлее. Однако небо было все таким же хмурым. Резко заскрежетали тормоза, автобус остановился посреди кричащей толпы перед гостиницей с глинянитными аркадами и грязными окнами. Жанин вышла и почувствовала, что улица плывет перед ней. Над крышами домов она заметила изящный желтый минарет. Налево уже вырисовывались первые пальмы оазиса, и ей захотелось к ним. Но хотя время близилось к полудню, холод был пронзительный; Жанин до дрожи пробирал ветер. Она обернулась к Марселью, но увидела солдата, шедшего ей навстречу. Она ждала, что он улыбнется или помашет на прощание рукой. Он прошел мимо, не оглянувшись, и исчез. Марсель следил, когда снимут большой черный чемодан с тканями, прикрепленный к крыше автобуса. Но это было не так-то легко: выдачей багажа ведал все тот же шофер, он уже влез наверх и теперь, выпрямившись во весь рост, разглагольствовал перед толпой бурнусов, обступивших автобус. Окруженная темными лицами - кожа да кости, - оглушенная гортанными криками, Жанин вдруг почувствовала, до чего она устала.

- Я пойду, - сказала она Марселью, который нетерпеливо подгонял шофера.
Она вошла в гостиницу. Хозяин, молчаливый тощий француз, поднялся ей навстречу. Он провел ее на второй этаж, они миновали галерею, нависавшую над улицей, и оказались в номере, где стояла лишь железная кровать, стул, выкрашенный белой эмалевой краской, и вешалка без занавески; плетеная тростниковая ширма отгораживала таз для умывания, покрытый тонким слоем песка. Когда хозяин закрыл за собой дверь, Жанин почувствовала, каким холодом несет от голых, выбеленных известью стен. Она не знала, куда приткнуться, куда положить сумку. Надо было или лечь, или стоять и все равно одинаково дрожать от холода. Она осталась стоять, не выпуская из рук сумки, стояла и смотрела в маленькое, словно бойница, окошко, пробитое почти у самого потолка и выходившее прямо в небо. Она ждала, сама толком не зная чего. Она чувствовала лишь свое одиночество и пронизывающий холод, и необычную тяжесть на сердце. Она словно грезила наяву и почти не слышала городского шума и раскатистого голоса Марселя, доносившегося с улицы, но зато отчетливо улавливала какой-то плеск, проникавший сквозь бойницу; это шелестели под ветром пальмы, такие близкие, чудилось ей теперь. Потом ветер как будто усилился, и слабое бормотание воды сменилось посвистом волн. Ей представилось море, бушующее за стенами, целое море пальм, стройных и гибких. Все было совсем не таким, как она ожидала, но эти невидимые волны освежили ее усталые глаза. Она стояла, опустив руки, грузная, чуть сутулая, и не замечала, как холод постепенно поднимается к ее тяжелым ногам. Она грезила о пальмах, стройных и гибких, и о той молоденькой девушке, какой она была когда-то. Приведя себя в порядок, они спустились в ресторан. На голых стенах были намалеваны верблюды и пальмы, тонувшие в каком-то фиолетово-розовом сиропе. Сводчатые окна скрупульно пропускали свет. Марсель справился у хозяина гостиницы о торговцах. Потом к ним подошел официант - старый араб с военным орденом на куртке. Марсель был озабочен и рассеянно крошил хлеб. Он не позволил Жанин пить

воду.

- Она не кипяченая. Возьми вина.

Ей не хотелось, от вина ее размаривало. Еще в меню была свинина.

- Коран запрещает ее есть. Но Коран не знал, что от хорошо проваренной свинины нельзя заболеть. Уж мы-то умеем ее готовить. О чём ты думаешь?

Жанин ни о чём не думала или, может быть, об этой победе поваров над пророками. Но надо было поторопливаться. Завтра утром они отправлялись еще дальше на юг: после обеда предстояло обойти всех главных торговцев. Марсель попросил старого араба поскорее принести кофе. Тот молча, без улыбки кивнул и удалился мелкими шажками.

- Тише едешь, дальше будешь, - усмехнулся Марсель.

В конце концов им принесли кофе. Они наспех проглотили его и вышли на пыльную холодную улицу. Марсель кликнул молодого араба, чтобы тот помог ему нести чемодан, и стал торговаться с ним - из принципа - о вознаграждении. Этот принцип, о котором он лишний раз поведал Жанин, основывался на весьма туманном убеждении, что арабы всегда запрашивают вдвое, чтобы получить четверть. Жанин было не по себе, она молча следовала за мужчинами. Она надела под толстое пальто еще и шерстяной костюм, и ей было неприятно, что она занимает так много места. К тому же свинина, пусть даже хорошо проваренная, и капля вина, которую она выпила, усиливали ее недомогание.

Они миновали небольшой сквер с запыленными деревьями. Встречные арабы сторонились, но словно не видели их и подбиравали полы своих бурнусов. Даже в лохмотьях они сохраняли горделивое достоинство, которого она не замечала у арабов их города. Жанин старалась не отставать от чемодана, прокладывавшего ей дорогу в толпе. Через проход в желтой земляной насыпи они выбрались на маленькую площадь, обсаженную теми же пыльными деревьями и окаймленную в глубине, там, где она расширялась, аркадами и лавочками. Они остановились на площади перед небольшой, выкрашенной в голубой цвет постройкой, по форме напоминавшей снаряд. Внутри, в единственной комнате, куда свет проникал только через входную дверь, она заметила старого седоусого араба. Он разливал чай, поднимая и наклоняя чайник над тремя

разноцветными стаканчиками, стоявшими на отполированном деревянном подносе. Уже у порога, не успев еще ничего разглядеть в полураке магазинчика, они почуяли свежий аромат мятного чая. Протиснувшись в дверь, обвшанную громоздкими гирляндами оловянных чайников, чашек и подносиков вперебежку с вертящимися подставками для открыток, Марсель оказался у самого прилавка. Жанин осталась у входа. Она слегка отодвинулась, чтобы не заслонять свет. И тут она увидела в полураке позади старого торговца двух арабов, они сидели на туго набитых мешках, которыми была завалена вся задняя часть лавки, и, улыбаясь, смотрели на нее и Марселя. Со стен свешивались красные и черные ковры и вышитые платки, а пол был заставлен мешками и маленькими яичками с ароматическими шариками. На прилавке возле весов с блестящими медными чашками и старого метра со стершимися делениями стояли в ряд сахарные головы, завернутые в плотную синюю бумагу; одна из них, распеленатая, была почата с верхушки. Когда старый торговец опустил на прилавок чайник и поздоровался, острее стал запах шерсти и пряностей, плававший в воздухе и поначалу заглушенный ароматом чая.

Марсель говорил торопливо, тем особым низким голосом, который появлялся у него, когда он говорил о делах. Потом он открыл чемодан и стал показывать ткани и платки, отодвинув весы и метр, чтобы разложить свой товар перед старым торговцем. Он нервничал, повышал голос и смеялся невпопад; он напоминал неуверенную в себе женщину, которая старается понравиться. Широко размахивая руками, он изображал куплю и продажу. Старик покачал головой, передал поднос с чаем арабам, державшимся позади, и произнес всего несколько слов, которые, по-видимому, обескуражили Марселя. Он собрал свои ткани, уложил их в чемодан и вытер рукой совершенно сухой лоб. Он кликнул маленького носильщика, и они отправились дальше, к аркам. В первой же лавочке, хотя хозяин держался поначалу с таким же величественным видом, им повезло немножко больше.

- Они Бог знает что из себя строят, - сказал Марсель, - а торговать все же приходится! Всем тяжело живется.

Жанин молча следовала за ним. Ветер почти утих. Небо местами очистилось.

Холодный сверкающий свет падал из голубых проемов, прорезавших толщу облаков. Они покинули площадь и шли по маленьким улочкам, вдоль земляных стен, с которых свешивались то тут, то там истлевшие декабрьские розы или сухие червивые фанаты. Над всем кварталом плавал аромат кофе, смешанный с дымом горевшей в очагах коры, запахом пыли, камня и овец. Лавочки, выбитые прямо в стене, находились на большом расстоянии друг от друга; Жанин чувствовала, как наливаются тяжестью ее ноги. Но Марсель понемногу успокаивался, ему удалось кое-что продать, и он становился все благодушнее, называя Жанин «маленькая», радуясь, что поездка

оказалась не напрасной.

- Ты прав, - сказала Жанин, - всегда лучше договариваться с ними самими. К центру они вернулись другой улицей. День клонился к вечеру, небо почти совсем прояснилось. Они остановились на площади. Марсель потирал руки и с умилением поглядывал на чемодан, стоявший перед ними.

- Посмотри, - сказала Жанин.

Высокий, худой и крепкий араб в небесно-голубом бурнусе, желтых мягких сапожках и перчатках шел с другого конца площади, горделиво вскинув свое бронзовое от загара лицо с орлиным носом. Лишь по феске, обмотанной тюрбаном, можно было отличить его от французских офицеров колониальной администрации, которыми порой восхищалась Жанин. Медленно стягивая с руки перчатку, он ровным шагом приближался к ним, но смотрел, казалось, куда-то поверх их голов.

- Ну и ну, - сказал Марсель, пожав плечами, - этот, видно, вообразил себя генералом.

да, все они тут держались подчеркнуто горделиво, но этот, право же, переигрывал. Он шел через пустую площадь прямо на чемодан, не видя ни его, ни их. Расстояние между ними быстро сокращалось, и когда араб совсем уж было надвинулся на них, Марсель поспешил ухватиться за ручку чемодана и оттащил его в сторону. Араб прошел мимо, словно ничего не заметив, и тем же ровным шагом направился к земляной насыпи. Жанин посмотрела на мужа, у него было знакомое ей озадаченное выражение.

- Они думают, что теперь им все позволено, - сказал он.

Жанин ничего не ответила. Ей претило тупое высокомерие этого араба, и внезапно она почувствовала себя ужасно несчастной. Ей хотелось уехать, она думала об их маленькой квартирке. Мысль о возвращении в гостиницу, в этот ледяной номер, пугала ее. Вдруг она вспомнила, что хозяин советовал подняться на террасу форта, откуда видна пустыня. Она сказала об этом Марселя, добавив, что чемодан можно оставить в гостинице. Но он устал, ему хотелось немножко поспать перед обедом.

- Ну, прошу тебя, - сказала Жанин. Он посмотрел на нее и сразу смягчился.

- Хорошо, хорошо, дорогая, - сказал он.

Она ждала его перед гостиницей. На улице толпились арабы в белых одеждах, их становилось все больше. Жанин была здесь единственной женщиной, никогда, наверно, она не видела разом так много мужчин. И, однако, никто не замечал ее. Некоторые глядели, словно не видя, медленно обращая к ней свои худые темные лица, которые казались ей совершенно одинаковыми: у французского солдата в автобусе, у араба в перчатках было такое же лицо, хитрое и в то же время высокомерное. Они обращали к чужестранке свои непроницаемые лица, смотрели и не видели, проходили мимо, молчаливые и легкие, а она стояла, чувствуя боль в опухших ногах. Ее недомогание, как и желание бежать отсюда, все росло. «Зачем только я приехала?» Но тут из гостиницы вышел Марсель.

Когда они взобрались по лестнице форта, было уже пять часов. Ветер совсем стих. На бледно-голубом небе не было теперь ни облачка. Холод стал резче и покалывал щеки. На середине лестницы они увидели старого араба, привалившегося к стене, он спросил, не нужен ли им проводник, но даже не шевельнулся, словно заранее уверенный в отказе. Глинобитная лестница была длинной и крутой, несмотря на множество площадок. По мере восхождения все шире распахивалось перед ними пространство, и чем выше они поднимались, тем холоднее и резче разливался свет, отчетливее и чище становились звуки, доносившиеся из оазиса. Пронизанный солнцем воздух, словно потревоженный их вторжением, казалось, дрожал вокруг них, как будто каждый их шаг, отдаваясь в зеркальной поверхности света, рождал звуковую волну, от которой расходились во все стороны широкие круги. Когда они добрались до террасы и их взору открылась пальмовая роща, а за ней - необъятный горизонт, Жанин почудилось, будто все небо звенит на одной пронзительной и короткой ноте и эхо ее постепенно заполняет все пространство над головой. Но внезапно все смолкло, и притихшая Жанин осталась лицом к лицу с бескрайним простором.

Взгляд ее медленно, не встречая никаких препядствий, скользнул по безукоризненно плавной дуге, соединявшей восток и запад. Далеко внизу лепился по склону уступами арабский городок, на голубых и белых стенах проступали кровавыми пятнами темно-красные гроздья перца, сушившегося на солнце. Не видно было ни души, но из внутренних двориков поднимались вместе с ароматным дымком поджариваемого кофе смеющиеся голоса и какое-то невнятное шарканье. Чуть поодаль пальмовая роща, разделенная глиняными стенами на неравные квадраты, шелестела верхушками деревьев под порывами ветра, не долетавшего до террасы форта. Еще дальше начиналось желто-серое царство камня, и до самого горизонта нигде не заметно было никаких признаков жизни. Только на некотором расстоянии от оазиса, у речки, огибавшей с запада пальмовую рощу, виднелись большие черные шатры.

Вокруг неподвижное стадо верблюдов. Отсюда они казались крохотными закорючками и вырисовывались на серой земле подобно надписи на каком-то неведомом языке, смысл

которой надо было разгадать. Над пустыней стояла безграничая, как эти просторы, тишина.

Всей своей тяжестью опершись на парапет, Жанин словно онемела, она не могла оторваться от пустоты, открывшейся перед ней. Рядом беспокойно топтался Марсель. Ему было холодно, он хотел спуститься. Да и на что тут смотреть! Но она не могла отвести глаз от горизонта. Ей внезапно почудилось, будто далеко-далеко на юге, в том самом месте, где небо и земля, смыкаясь, образуют четкую чистую линию, ее что-то ждет; что-то, чего ей всегда не хватало, хоть она и не подозревала об этом до нынешнего дня. Приближался вечер, свет слегка померк и, утратив свою прозрачность, как бы струился. И тогда женщина, лишь по чистой случайности попавшая сюда, вдруг почувствовала, что тугой узел скуки и привычек, годами сжимавший сердце, стал медленно ослабевать. Она посмотрела на становые кочевников. Ей не удалось разглядеть людей, живущих там, никто не вышел из шатров, а между тем она думала только о них, едва ли существовавших для нее до этого дня. Горстка бездомных, отрезанных от мира людей, кочующих по бескрайним землям, расстилавшимся перед ее взглядом, а ведь эти просторы – лишь жалкая часть необъятной, убегающей в головокружительную даль пустыни, и только где-то там, на юге, за тысячи километров отсюда путь ей наконец преграждают река и вспоенный ее живительной влагой лес. С незапамятных времен, не зная отдыха, бредут они по сухой, растрескавшейся земле огромного края, всего несколько десятков человек, которые ничем не владеют и никому не служат, отверженные и свободные властители некоего странного царства. Жанин не знала, почему эта мысль наполняет ее такой сладкой и глубокой печалью, от которой сами смыкаются глаза. Она знала лишь, что царство это было обещано ей от века, а между тем никогда оно не будет принадлежать ей, больше уж никогда, кроме, быть может, этого ускользающего мгновения, когда внезапно смолкли голоса, долетавшие из арабского города, и ей открылось неподвижное небо с застывшими волнами света. И ей показалось, что время прервало свой бег и что с этого мгновения никто больше не постареет и не умрет. По всей земле жизнь словно бы приостановилась, только сердце ее ожило, кто-то бился и плакал там от боли и восторга.

Но солнце тронулось с места, его ясный и холодный круг постепенно склонился к земле, западный край неба слегка порозовел, а на востоке взбухла серая волна, готовая затопить весь этот огромный простор. Где-то завыла собака, и ее отдаленный вой разнесся в похолодевшем воздухе. Только сейчас Жанин заметила, что у нее стучат зубы.

– Подохнуть можно от холода, – сказал Марсель, – ты просто дурочка. Вернемся. И он неловко взял ее за руку. Она покорно оторвалась от парапета и последовала за мужем. Старый араб на лестнице, не двигаясь, смотрел, как они спускаются к городу.

Она шла, никого не замечая, ссутулившись под внезапной огромной усталостью и с трудом волоча свое тело, вдруг ставшее невыносимо тяжелым. Недавнее возбуждение покинуло ее. Она казалась себе слишком большой и неповоротливой, слишком белой для этого мира, в который только что вступила. Лишь ребенок, юная девушка, поджарый мужчина и украдкой пробирающийся шакал – вот единственное существа, которым дано неслышно ступать по этой земле. А что здесь делать ей? Дотащиться до постели и уснуть, дотащиться до смерти... Она и впрямь дотащилась до ресторана. Муж, внезапно притихший, нарушил молчание лишь для того, чтобы пожаловаться на усталость, а она чувствовала, что заболевает, и вяло сопротивлялась простуде. Она дотащилась до постели, Марсель тоже лег, сразу же потушил свет, ни о чем ее не спросив. Комната была совсем ледяная. Жанин чувствовала, как к ней подбирается холод и вместе с тем усиливается жар. Она задыхалась, кровь билась в жилах, не согревая, и в душе росло что-то, похожее на страх. Она повернулась на бок, старая железная кровать заскрипела под ее тяжестью. Нет, она не хочет болеть. Муж уже спал, ей тоже надо уснуть, да, спать, спать. Сквозь бойницу просачивался приглушенный шум города. В мавританских кафе гнусавили старые граммофоны, вместе со смутным гулом неторопливой толпы до Жанин долетали полузнакомые мелодии. Надо спать. Но она считала про себя черные шатры; перед закрытыми глазами паслись неподвижные верблюды, беспредельное одиночество втягивало ее в свой водоворот. Зачем, зачем она сюда приехала? Она задремала, так и не ответив себе на этот вопрос.

Вскоре она проснулась. Кругом была мертвая тишина. Только на окраине города хрюпали лаяли собаки, нарушая безмолвие ночи. Жанин вздрогнула. Она перевернулась на другой бок, ощутила у своего плеча твердое плечо мужа и внезапно, все еще в полусне, прижалась к нему. Она как бы скользила по поверхности сна, не погружаясь в него. Она цеплялась за это плечо с бессознательной жадной надеждой, как за якорь спасения. Она что-то говорила, но с ее губ не сорвалось ни звука. Она говорила, но что – и сама не могла бы разобрать. Она чувствовала лишь тепло, исходившее от Марселя. И так все эти двадцать лет – согретая его теплом, каждой

ночь, везде вместе, даже больная, даже в поездке, как вот сейчас... да и что бы она делала дома одна? Нет детей! Может, этого ей недоставало? Она не знала. Она просто следовала за Марселеем, вот и все, довольная, что хоть кому-то нужна. Это была единственная радость, которую он давал ей, - сознание своей необходимости. Вряд ли он любил ее. У любви - даже если это любовь-ненависть - не такое угрюмое лицо. А какое у любви лицо? Они любили друг друга ночью, во тьме, на ощупь. Есть ли на свете другая, не ночная любовь, которая смеет кричать о себе среди бела дня? Она не знала. Но она знала, что нужна Марселя, и ей нужно было чувствовать, что она нужна ему, она жила этим днем и ночью, особенно ночью, каждую ночь, ощущая, что он не хочет быть одиноким, не хочет стареть и умирать, и упрямое выражение, которое появлялось тогда у Марселя, она порой узнавала на лицах других мужчин - единственное, в чем были похожи эти сумасшедшие, скрывавшие свое безумие под маской разума, пока оно не одолевало их и не швыряло в отчаянном порыве к женщине, даже без вожделения, лишь бы укрыться в ее объятиях от одиночества и мрака, которого они так страшатся.

Марсель чуть пошевелился, словно хотел отодвинуться от нее, и им давно следовало бы расстаться и спать в одиночестве до конца дней. Но разве кто-нибудь может всю жизнь спать один? На это способны лишь немногие, которых призвание или беда оторвали от людей, те, что каждый вечер ложатся в постель вдвоем со смертью. А Марсель никогда бы не смог, уж он-то, во всяком случае, слабый и беззащитный ребенок, всегда боявшийся страдания, да, именно ее ребенок, которому она так нужна и который как раз в этот момент слабо застонал. Она крепче прижалась к нему, положила руку ему на грудь. Она мысленно назвала его тем ласковым, интимным именем, которое когда-то дала ему в минуты любви, они и теперь еще изредка шептали его, но машинально, не задумываясь над тем, что говорят. Она звала его всем сердцем. В конце концов ведь она тоже нуждалась в нем, в его силе, даже в его маленьких причудах, она тоже боялась смерти. «Если я преодолею этот страх, я буду счастливой...» И в тот же миг невыразимая тоска захлестнула ее. Она отодвинулась от Марселя. Нет, никогда она не преодолеет страха и не будет счастливой, она умрет, так и не освободившись от этой муки. Сердце у нее ныло, она задыхалась и билась, изо всех сил пытаясь сбросить с себя тяжкий груз, который тащила на себе целых двадцать лет, теперь-то она поняла это. Быть свободной, во что бы то ни стало свободной, пусть даже Марсель и все прочие никогда не узнают свободы! Окончательно проснувшись, она села в постели, прислушиваясь к зову, который, казалось, вот-вот прозвучит. Но из ночной дали донеслись лишь осипшие голоса неутомимых собак оазиса. Жанин почудилось легкое журчание воды - это ветер шелестел пальмовой рощей. Он прилетел с юга, где пустыня и мрак слились воедино под неподвижным небом, где остановилась жизнь, где никто не стареет и не умирает. Потом шепот ветра смолк, словно иссяк ручеек. Жанин уже не знала, слышала ли она что-нибудь, кроме этого немого зова, который она могла по желанию заглушить или заставить звучать громче, но она чувствовала, что никогда уже не постигнет его значения, если не ответит на него немедленно. Да, немедленно, в этом она была уверена.

Она осторожно поднялась и замерла у кровати, напряженно прислушиваясь к дыханию мужа. Марсель спал. Холод набросился на нее сразу же, как только она покинула теплую постель. Она медленно одевалась, на ощупь отыскивая свои вещи при слабом свете уличных фонарей, проникавшем сквозь ставни. С туфлями в руках она прокраилась к порогу. Мгновение она ждала, потом стала осторожно открывать дверь. Ручка скрипнула, Жанин оцепенела. Сердце бешено колотилось. Она прислушалась и, успокоенная тишиной, снова взялась за ручку. Казалось, она никогда не повернется. Наконец она открыла, выскользнула в коридор и так же осторожно прикрыла дверь. Припав к ней щекой, она ждала. Через мгновение она уловила далекое дыхание Марселя. Она повернулась и побежала по галерее, чувствуя на лице леденящий ночной воздух. Дверь гостиницы была закрыта. Пока она возилась с задвижкой, на верхней площадке лестницы показался сторож, он что-то сказал ей по-арабски.

- Я сейчас вернусь, - ответила Жанин и бросилась в ночь.

Над домами и пальмами висели гирлянды звезд. Она бежала по короткому, безлюдному в этот час проспекту, который вел к форту. Теперь, не встречая противодействия солнца, холод полностью завладел ночью; ледяной воздух обжигал легкие. Она бежала почти вслепую в кромешной тьме. Но наверху, в конце проспекта, вспыхнули какие-то огоньки и, петляя, начали спускаться к ней. Она уловила слабое стрекотание и остановилась. За выраставшими с каждой минутой огоньками она разглядела огромные бурнусы, под которыми поблескивали тонкие велосипедные спицы. Бурнусы пронеслись мимо, едва не задев ее, три красных огонька вспыхнули во тьме позади нее и сразу же исчезли. Она снова пустилась бежать к форту. Ледяной воздух так сильно обжигал легкие, что на середине лестницы она решила передохнуть. Но в последнюю минуту

какая-то посторонняя сила швырнула ее на террасу, прижав животом к парапету. Она задыхалась, все плыло перед глазами. Бег не согрел ее, она дрожала всем телом. Но холодный воздух, который она вдыхала глотками, равномерно растекался по жилам, рождая слабое тепло, постепенно одолевавшее дрожь. Ее глазам открылись наконецочные просторы.

Ни звука, ни дуновения; только глухое потрескивание камней, превращавшихся от холода в песок, изредка нарушило уединение и тишину, окружавшие Жанин. Вдруг ей почудилось, будто небосвод, словно подхваченный каким-то тяжелым вихрем, медленно закружился над ней. В недрах ночи беспрестанно всыхивали тысячи звезд, и их сверкающие льдинки, едва возникнув, начинали незаметно скользить вниз, к горизонту. Жанин не могла оторвать глаз от этих блуждающих огней. Ее кружило вместе с ними, и этот недвижный хоровод погружал ее в сокровенные глубины ее естества, где теперь желание боролось с холодом. Звезды падали одна за другой и гасли среди камней пустыни, и с каждым разом все существо Жанин все больше раскрывалось навстречу ночи. Она дышала, она забыла о холода, о бремени бытия, о своем безумном и застойном существовании, о томительном ужасе жизни и смерти.

Наконец-то, после стольких лет бешеной гонки, когда она бесцельно мчалась вперед, подстерегаемая страхом, она могла остановиться и перехватить. Казалось, она обрела свои корни, и новые соки вливались в ее тело, теперь уже переставшее дрожать. Прижавшись животом к парапету и вся подавшись вперед к бегущему небу, она ждала, чтобы успокоилось также ее потрясенное сердце и воцарилась в ней тишина. Последние созвездия, сбросив грозья своих огней, соскользнувших куда-то вниз к самому краю пустыни, неподвижно застыли в небе. И тогда воды мрака медленно и с невыносимой нежностью захлестнули Жанин, вытеснили холод, стали постепенно подниматься из темных глубин ее существа и неудержимым потоком хлынули через край, сорвавшись с ее губ долгим стоном. Мгновение спустя небо распластерлось над Жанин, упавшей на холодную землю.

Марсель не проснулся, когда она с теми же предосторожностями вернулась в номер. Он только буркнул что-то, когда она легла, а потом вдруг сел в постели. Он заговорил, но она не поняла, что он сказал. Он встал и зажег свет, ударивший ее, как пощечина. Пошатываясь, он пошел к умывальнику, взял бутылку минеральной воды и долго пил прямо из горлышка. Он уже собирался нырнуть под одеяло, но застыл, опершись коленом о край кровати, и растерянно уставился на Жанин. Она безудержно рыдала, не в силах унять слез.

- Ничего, дорогой, - сказала она, - это так, ничего.
РЕНЕГАТ, ИЛИ СМЯТЕННЫЙ ДУХ

Каша, какая каша в голове! Навести бы там порядок. С тех пор как мне отрезали язык, другой язык без устали молотит в мозгу, или еще что-то, а может быть, и кто-то: говорит, замолкает, опять за свое, и я слышу многое, чего не произношу, какая каша, а откроешь рот - будто галька зашуршит. Порядок, к порядку, - твердит язык и тут же о другом, да, порядка я всегда желал. Одно, по крайней мере, не вызывает сомнений: я жду миссионера, который должен прибыть мне на смену. Я поджидаю его на тропе в часе ходьбы от Тагхазы, притаившись среди обломков скалы, сидя на старом ружье. Над пустыней занимается день, сейчас пока холодно, очень холодно, но вот-вот навалится жара, здешняя земля сводит с ума, а я, да я уже и счет годам потерял... Нет, еще последнее усилие! Миссионер должен приехать сегодня утром, а может, и вечером. Говорили, он будет с проводником, возможно, у них один верблюд на двоих. Ничего, я подожду, я жду, а что дрожь, так это только от холода. Потерпи немного, жалкий раб!

Как же долго я терплю. Дома, в Центральном массиве¹, мужлан отец и темная баба - мать, вино, похлебка с салом всякий день, но больше вино, кислое, холодное, и долгая, долгая зима, наледь, сугробы, омерзительные папоротники, о, как я хотел бежать, разом порвать со всем, зажить по-настоящему, под ярким солнцем и с прозрачной водой. Я поверил кюре, когда он рассказывал о семинарии, он занимался со мной каждый день, благо времени у него было предостаточно в нашем протестантском селе,

1 Центральный французский массив - горная область в центрально-восточной части Франции.

© Перевод на русский язык, И. Радченко, 1993

где он и по улицам-то ходил крадучись, вдоль стен. Он говорил о будущем, о солнце, мол, католицизм - это солнце и есть, учил меня читать, вдалбливал латынь в мою тугую башку: «Смысленный малый, но упрям, как осел», - да, голова у меня и впрямь неподатливая, за всю жизнь, сколько я ни падал, ни кровинки: «Воловья башка», - скажет бывало, скотина-отец. В семинарии мне почет, новобранец из протестантских мест - победа для них, встречали меня ровно солнце над Аустерлицем. Тусклое, прямо скажу, солнышко, все из-за вина, хлестали кислое

вино, и дети выросли с гнилыми зубами, убить-то надо бы отца, впрочем, исключено, чтоб он подался в проповедники, поскольку давно уже помер, кислое вино в конце концов пробуравило ему дырку в желудке, так что остается застрелить миссионера.

Счет у меня к нему есть и к его учителям, к тем, кто меня учил и обманул, к гнусной Европе, я всеми обманут. Я только и слышал, что миссионерство да миссионерство, прийти к дикарям и проповедовать им: «Поглядите, вот Господь мой, он никого не бьет, не убивает, он повелевает тихим словом, подставляет другую щеку, это самый великий господин, выбирайте его, посмотрите, благодаря ему я сделался лучше, хотите убедиться - ударьте меня». И я поверил, э-э, и чувствовал, как становлюсь лучше; я пополнел, похорошел даже; я мечтал о поругании. Когда солнечным летним днем мы сокнутым черным строем проходили по улицам Гренобля и нам встречались девочки в легких платьицах, я не отводил глаз, нет, я презирал их, я хотел, чтоб они меня оскорбили, и иногда они смеялись. Я думал: «Вот бы они меня ударили, плюнули бы в лицо», - однако и смех их был ничуть не лучше, он щетинился зубами, вонзился колкими иглами, но оскорблению и страданию были приятны. Я унижался, и духовник мой недоумевал: «да нет же, в вас много хорошего!» Хорошего! Кислого вина во мне было много - вот чего, ну и пусть, ведь как стать лучше, если и без того неплох, - это я хорошо усвоил в их учении. В сущности, только это я и усвоил, одну-единственную мысль, и, как подобает смысленному ослу, доводил ее до завершения, я искал наказания, я чурался обыденности, короче, я хотел сам послужить примером: глядите все и, глядя на меня, поклоняйтесь тому, кто сделал меня лучше, почитайте во мне Господа моего. Солнце дикарей! Вот оно встает, меняется пустыня, давеча напоминавшая по цвету горный цикламен, горы мои родимые, снежные, мягкий ласковый снег, нет, сейчас все сделалось изжелта-серым, сумеречный час - преддверие всемогущего зарева. Впереди - ничего до самого горизонта, где плоскогорье мреет в нежных еще красках. Позади меня тропа карабкается на дюну, за которой скрылась Тагхаза: название это вот уже многие годы железом бряцает в голове. Первым, кто рассказал мне о ней, был полуслепой старик священник, доживавший свой век в монастыре, собственно, первым и единственным, и даже не город из соли с белыми опаленными солнцем стенами поразил меня в его рассказе, нет, поразительна была жестокость дикарей, населяющих недоступный чужеземцам край: на памяти старика только один из всех, кто пытался пробраться туда, один только смог поведать о том, что увидел. Они его высекли и выгнали в пустыню, засыпав солью раны и рот, спас случай: кочевники, которых он встретил, проявили к нему сострадание, и я с тех пор все предавался мечтаниям о жгучем огне соли и огне небесном, о храме идола и его рабах, вот где оно, варварство-то подлинное, то есть самое притягательное, вот где я призван явить Господа моего.

В семинарии они меня увещевали, охлаждали всячески мой пыл, мол, надо подождать, мол, и место неподходящее, и я еще незрел, я должен специально готовиться, познать себя должен, испытания пройти, а там видно будет! Все ждать да ждать! Нет уж, специальная подготовка, испытания - куда ни шло, тем более в Алжире, все ближе к месту предназначения, а в остальном я только тряс своей неподатливой башкой и дoldонил свое: ехать к самым диким варварам, жить их жизнью и собственным примером показывать, хотя бы и в самом храме идола, что истина Господа моего сильнее. Они, разумеется, станут бить меня и оскорблять, но поругание не страшило меня, оно было как раз необходимо для моей цели, я снесу его безропотно и тем приворожу дикарей, точно могучее солнце. Могущество, я постоянно пережевывал это слово, я мечтал о неограниченной власти - той, что повергает на колена, заставляет противника складывать оружие, то есть обращает его в мою веру, и чем более он слеп, жесток и самоуверен, чем крепче цепляется за свои убеждения, тем выше возносится покоривший его. Наставить на путь истинный заблудших, но, впрочем, славных людей - таков убогий идеал наших священнослужителей, коих я презирал: при такой-то власти дерзать на такую малость, значит, не было в них веры, а у меня была, я хотел, чтобы сами палачи поклонились мне, чтобы пали на колена и говорили: «Зрим, Господи, победу Твою», хотел владычествовать словом над целым полчищем извергов. О, я не сомневался, что рассуждаю правильно, пусть в остальном я не слишком уверен в себе, но уж если овладеет мною какая идея, нипочем не отступлюсь, тут-то вся моя сила, сила, говорю я, но они жалели меня!

Солнце поднялось выше, голова моя горит. Камни вокруг глухо потрескивают, только ствол ружья прохладен, прохладен, как луг, как, помню, дождь по вечерам, когда на кухне варился суп и отец с матерью ждали меня, они иногда улыбались, я, может быть, их любил. Все, конечно, жаром туманится тропа, приходи, миссионер, я жду тебя, мне есть чем ответить на твою проповедь, новые учителя преподнесли мне урок, я знаю, они правы, пора свести счеты с любовью. Когда я бежал из семинарии в Алжир, я представлял себе варваров совсем иными, в одном мечтания не обманули

меня - они жестоки. Я обокрал казначея, сбросил сутану, я пересек Атласские горы, высокогорные плато, пустыню, и водитель в Сахаре тоже смеялся надо мной: «Не ходи туда», все в один голос, и были сотни километров песчаных волн, то надвигающихся, то отступающих под ветром, и снова горы, ощетинившиеся черными вершинами, с хребтами острыми, точно лезвие ножа, а дальше пришлось нанять проводников и идти по бескрайнему, гудящему от зноя, морю бурых камней, обжигающих тысячью огнедышащих зеркал, до того места на границе земли черных и белой страны, где лежит соляной город. Проводник еще украл у меня деньги, которые я по наивности, опять же по наивности, показал ему, а он саданул меня в скулу и бросил как раз вот тут, на тропе: «Ступай, собака, вон дорога, честь имею, валяй, они тебя научат», - и они научили, о, они подобны солнцу, разящему гордо и без устали, исклучая ночь, вот и сейчас разящему, ох как сильно, жгучими, яростно пронзающими землю копьями - скорее, скорее в укрытие, под скалу, не то и вовсе мрак.

Тень здесь приятна. Как можно жить в городе из соли, на дне заполненной белым зноем чаши? На ровных, грубо вытесанных стенах зарубки от кайла ерошатся сверкающими чешуйками, припорошенными бледно-желтым песком, а налетит ветер, очистит стены и плоские кровли, и все засияет умопомрачительной белизной под вычищенным до самой своей голубой корки небом. В такие дни я слеп от яркого пожара, часами неподвижно полыхавшего на белых плоских крышах, сливавшихся в единую массу, словно вырубленных из одной соляной горы, как если бы некогда они срезали с нее верхушку, а потом прорыли в ее толще улицы, внутренние помещения, окна или, вернее, вырезали свой белый жгучий ад кипятком из брандспойта, лишь бы только доказать, что смогут жить там, где никто не сможет, в тридцати днях пути от всякого жилья, в яме посреди пустыни, где дневное пекло не позволяет людям сообщаться между собой, разделяя их частоколом незримого пламени с расплавленными в нем кристаллами соли, а сменяющая его ночная стужа враз замуровывает в соляных раковинах жителей этого сухого припая, черных эскимосов, стучащих зубами в ледяных кубах домов. Черных, потому что одеты они в длинные черные балахоны, и соль, вездесущая соль, забивающаяся под ногти и ночью хрустящая на зубах горечью полярного сна, соль, растворенная в питьевой воде единственного источника на дне сверкающей расселины, иной раз оставляет на их сумрачных платьях потеки, похожие на след улитки после дождя.

Дождь, Господи, один только дождь, обильный и затяжной, дождь с Твоего неба! И тогда подмытый у основания страшный город станет медленно, но неукротимо оседать и, растаяв без остатка, вязким потоком захлестнет и умчит в пески своих свирепых обитателей. Господи, один только дождь! Господь? Нет, господа они! Они царствуют в своих бесплодных домах, владеют черными рабами, морят их в копях, - за пласт вырубленной соли южные страны платят по человеку, - укрытые траурными покрывалами, они безмолвно движутся по белокаменным улицам и с наступлением ночи, когда город, словно призрак, одевается молочной пеленой, они, согнувшись, уходят во мрак жилищ, где лишь тускло мерцают соленые стены. Легок их сон, а едва проснувшись, они уже повелевають, бьют, все мы - единый народ, говорят они, и еще, что их бог истинный и что надо повиноваться. Мои господа они, им неведома жалость, они не признают над собой ничьей власти, они хотят завоевывать и царствовать сами, поскольку никто, кроме них, не дерзнул построить в соли и песках ледяной тропический город. А я, да что там...

Какая каша, все путается от жары, я потею, они - никогда, тень постепенно накаляется, сквозь толщу скалы над головой я чувствую солнце, оно садит по камням, точно молотом бьет, так что звон стоит, немолчна музыка юга, вибрация сотен километров воздуха и камня, э-э, да я снова слышу тишину. Такая вот тишина много лет назад встретила меня, когда стража подвела меня к ним на залитую солнцем площадь, откуда город концентрическими террасами поднимался под опущенную на края чаши крышку ярко-голубого неба. Поверженный на колени, я стоял на дне вогнутого белого щита, огненные и соляные стрелы, исходившие из стен, кололи глаза, я был бледен от усталости, ухо, по которому хватил вожатый, кровоточило, и они, черные исполины, молча глядели на меня. День был в разгаре. Под ударами чугунного солнца гудело небо, точно раскаленный добела лист железа, звучала тишина, они смотрели на меня, время шло, а они все смотрели и смотрели, и я не выдержал их взглядов, сдавило горло, сильней, сильней и когда наконец я разрыдался, они вдруг беззвучно развернулись ко мне спиной и все разом удалились. Стоя на коленях, я видел только, как блестящие от соли ноги в красно-черных туфлях приподнимали край скорбного платья, носки туфель были слегка задраны, задники едва слышно шлепали по земле, а когда площадь опустела, меня отволокли в их капище.

Скорчившись, вот точно как в сегодняшнем моем укрытии, где пекло над головой пронизывает толщу камня, я просидел неведомо сколько дней под сенью идолова

дома, чуть возвышающегося над остальными, обнесенным соляной оградой, но без окон, полного мерцающей ночи. Все эти дни мне подавали миску солоноватой воды и бросали на пол горсть зерна, как курице, и я его подбирал. Днем, несмотря на запертую дверь, мрак делался чуточку прозрачней, будто неумолимое солнце просачивалось сквозь массу соли. Лампы не было, я ходил ощупью вдоль стен, натыкался рукой на гирлянды сухих пальмовых листьев, нашарил грубо вытесанную дверь на задней стенке, пальцы угадали на ней засов. Не скоро, много дней спустя, ни дней, ни часов считать я не мог, однако зерно мне к этому времени кинули раз десять, и я уже вырыл яму для нечистот, которая, как я ее ни закрывал, все воняла норой, так вот, много дней спустя дверь распахнулась на обе створки, и они вошли.

Один направился в тот угол, где я сидел, скорчившись. Соленая стена обжигала щеку, я вдыхал пыльный запах пальмовых листьев и смотрел, как он приближается. Он остановился в метре от меня и молча уставился перед собой, знак – я встал, он вперил в меня свои металлические глазки, поблескивающие без всякого выражения на коричневом лошадином лице, потом поднял руку. Все также безучастно он ухватил меня за нижнюю губу и стал медленно ее выворачивать, разрывая плоть, а затем, не разжимая пальцев, крутанул меня на месте, задом вывел на середину комнаты и рванул за губу вниз, так что я бухнулся на колени, обезумев от боли, с окровавленным ртом, а он повернулся ко мне спиной и пошел туда, где у стены стояли остальные. Они смотрели, как я стена в невыносимом пекле не знающего тени дня, лившегося в широко раскрытую дверь, и в этом световом снопе возник вдруг колдун с волосами из рафии, телом, обтянутым жемчужной кольчугой, голыми ногами под соломенной юбочкой, в маске из тростника и проволоки с двумя прямоугольными прорезями для глаз. За ним шли музыканты и женщины в тяжелых пестрых бесформенных платьях. Они исполнили перед дверью в глубине грубый малоритмичный танец, подергались немного и все тут, а затем колдун открыл дверцу за моей спиной, хозяева не шелохнулись, ониглядели на меня, и, обернувшись, я увидел идола, его двуликую голову и железный нос, изогнутый змеей.

Они подтащили меня к его ногам, к самому основанию, заставили пить горькое-прегорькое черное пойло, отчего голова у меня запылала, и я захотел: вот оно, надругательство, я поруган. Они раздели меня, обрили голову и торс, обмыли маслом и стали бить по лицу веревками, обмокнутыми в воду и соль, а я смеялся и отворачивался, но всякий раз две женщины хватали меня за уши и подставляли лицо ударам, которые наносил колдун с прямоугольными глазами, и, обливаясь кровью, я все смеялся. Остановились, все, кроме меня, молчали, в голове полная каша, потом меня подняли и заставили смотреть на идола, и я перестал смеяться. Я знал, что обречен отныне служить и поклоняться, о нет, я больше не смеялся, я задыхался от страха и боли. И в этом белом доме, в этих стенах, равномерно опаленных солнцем, со стянутой кожей на лице, в полуబеспамятстве, я попытался молиться идолу, да, да, кому же еще: даже его чудовищная рожа была менее чудовищной, нежели весь прочий мир. Они связали мне щиколотки веревкой, отпустили ее на длину шага, и снова исполнили танец, теперь уже перед идолом, затем один за другим хозяева удалились.

Закрылась дверь, и опять зазвучала музыка, колдун разжег костер из коры и принялся топтаться вокруг него, заполнив комнату пляшущими тенями, они трепетали на белых стенах, изламываясь в углах. В одном углу он очертил прямоугольник, женщины отволокли меня туда, я чувствовал сухое нежное прикосновение рук, они поставили передо мной чашку с водой, насыпали зерна и показали на идола – я понял, что не должен отводить от него глаз. Колдун по одной подзывал их к огню, иных бил, они стонали и падали ниц перед идолом, моим теперешним богом, а он все танцевал, а потом отоспал всех, кроме одной, совсем юной, которую он еще не бил, она сидела подле музыкантов. Он накручивал себе на руку ее косу, сильней, сильней, отчего у нее глаза вылезали из орбит, а сама она выгибалась назад, пока не повалилась навзничь. Тогда колдун выпустил ее и заорал, музыканты отвернулись к стене, а крик под маской с прямоугольными глазами нарастал и нарастал, и женщина как оглашенная каталась по полу и, наконец, присев на корточки, соединив руки над головой, закричала сама, но только глухо, и он, не сводя глаз с идола и продолжая вопить, овладел ею быстро и со злостью, лица ее я не видел, оно было теперь погребено под складками платья. И я, одичалый, шальной, я тоже орал, выл от ужаса, вперившись в идола, пока пинок ногой не отшвырнул меня к стене, и я грыз соль, как сейчас безъязыким ртом грызу камень, поджиная того, кого должен убить.

Солнце уже перевалило за середину неба. В расселины скалы я вижу его – зияющую дыру на каленом железе неба, глотку, как моя, словоохотливую, безостановочно изрыгающую огненные потоки над бесцветной пустыней. Впереди на тропе – ничего, ни пылинки на горизонте, а позади, там меня уже, наверное, хватились, хотя нет, рано еще, они лишь под вечер отпирали дверь и выпускали меня прогуляться, после

того как я целый день наводил порядок в храме идола и обновлял приношения, а по вечерам повторялось действие, в иные разы они били меня, в другие нет, но всякий раз я служил идолу, чей образ железом врублен в мою память, а теперь и в мою надежду. Никогда еще бог не владел мной, не подчинял до такой степени, жизнь моя дни и ночи была посвящена ему; болью и отсутствием боли, это ли не радость, я был обязан ему, и даже желанием, да, да, оттого, что чуть ли не ежедневно присутствовал при безличном свирепом совокуплении, которое я теперь не мог видеть, поскольку под угрозой побоев должен был смотреть в угол. Уткнувшись лицом в соленую стену, на которой неистово трепыхались тени, я с пересохшим горлом слушал нескончаемый вопль, и жгучее бесполое желание сдавливало виски и живот. Текли за днями дни, не отличимые один от другого, точно расплавленные тропическим зноем, беззвучно отражались в соляных стенах, время обратилось в бесформенный плеск, в котором через равные промежутки взрывались воплями побои и совокупления, один долгий безвременный день, где идол царствовал, подобно лютому солнцу над моим укрытием в скале, где я снова стенаю от горя и желания и, испепеляемый жестокой надеждой совершить предательство, облизываю дуло ружья и его душу, именно душу, только в ружьях душа, а с того дня, как мне отрезали язык, я возлюбил бессмертную душу ненависти!

Какая каша, исступление какое-то, пьяный от зноя и злобы, я приник, прилег на ружье. Кто это дышит так тяжело? Невыносима эта бесконечная жара и ожидание, я должен его убить. Ни птицы, ни травинки – камень, бесплодное желание, тишина, их вопли, говорящий во мне язык, а вместо настоящего, с тех пор как они изувечили меня, бескрайнее плоское страдание, пустыня, лишенная влаги даже ночью, запертый с богом в соленой берлоге, о, как я жаждал ночи. Только ночь с прохладными звездами и бездонными колодцами могла спасти меня, укрыть от жестоких людских богов, но из своего плена я не мог ее созерцать. Если миссионер задержится, я увижу, по крайней мере, как она встает над пустыней и обволакивает небо, опуская с темного зенита холодную золотую лозу, которая напоит меня, смочит пересохшую черную дыру, не увлажняемую более мягкой мышцей живой плоти, и я забуду наконец тот день, когда безумием тронуло мой язык.

О, какое стояло пекло, казалось, плавилась соль, воздух разъедал глаза, и вошел колдун без маски. За ним следовала незнакомая женщина, едва прикрытая сероватой хламидой, татуировка уподобляла маске идола ее оцепенелое, как у истукана, лицо. В ней жило лишь тонкое тело, рухнувшее к ногам божества, едва колдун отпер дверь. Затем он вышел, не взглянув в мою сторону, жар нарастал, я не шевелился, идол смотрел на меня поверх ее неподвижного и трепещущего тела, идолова маска ее лица не дрогнула, когда я подошел ближе. Только расширились устремленные на меня глаза, я коснулся ступнями ее ступней, стенала жара, и идолица плавно, безмолвно, не сводя с меня выпученных глаз, опрокинулась на спину, медленно поджала ноги, подняла, развела колени. И сразу же – э-э, колдун следил за мной – они вошли толпой, оторвали меня от нее и принялись немилосердно бить по грехотворному органу, грехотворному, ха-ха, смешно, какой грех, где грех, где добродетель, они прижали меня к стене, железная рука стиснула мне челюсть, другая раскрыла рот, ухватила за язык и стала вытягивать его, пока кровь не полила, я ли это зверем завыл, и тогда прохладной, да, прохладной в кои-то веки, лаской полоснуло по языку. Очнулся, ночь, никого, спина упирается в стену, весь в запекшейся крови, во рту кляп из травы со странным запахом, рана уже не кровоточит, там все мертвое, и жива лишь одна мучительная боль. Я хотел подняться, но упал и был счастлив, беспросветно счастлив, что наконец умру, смерть тоже прохладна и под своим покровом не прячет богов.

Я не умер, в один прекрасный день я поднялся, и юная ненависть встала на ноги вместе со мной, шагнула к двери на задней стене, открыла ее и закрыла за своей спиной, я ненавидел своих, идол стоял передо мной, из бездны, где я находился, я не просто возвзвал к нему с мольбой, я поверил в него, отвергнув все, во что верил до сих пор. Хвала ему, в нем сила и могущество, его можно разрушить, но нельзя обратить в свою веру, он смотрел поверх моей головы пустыми ржавыми глазами. Хвала ему, он единственный царь, единственный господин, чьим неотъемлемым атрибутом является зло, а добрых господ не бывает. Впервые всем своим воющим от боли поруганным телом я предался ему, я признал его злотворный порядок, в его обличье возлюбил первозданное зло. Я, пленник в его царстве, добровольно сделался гражданином бесплодного, высеченного из соляной горы города, отторгнутого природой, лишенного даже редких эфемерных цветов пустыни, исключившего случайность, не знающего ласки набежавшего облака или бурного ливня, какая знакома и солнцу, и пескам, – самого упорядоченного города, где углы прямы, комнаты квадратны, а люди непреклонны, я, воплощение ненависти и муки, вычеркнул из памяти ту сказку, которую мне так долго внушали. Меня обманули: только царство зла неуязвимо, меня обманули: истина квадратна, тяжела, плотна, ей неведомы оттенки, добро – это мечта, это идеал, достижение которого

вечно откладывается и требует изнурительных усилий, это недосягаемый предел, царство его невозможна. Только зло способно достичь предела и царствовать безгранично, только служа ему можно обрести здимое царство, а будущее покажет, да что будущее, когда в настоящем одно зло, долой Европу, долой разум, честь и крест. Да, мне пришлось обратиться в веру моих хозяев, да, я был рабом, но коли сам я злобен, я больше не раб, пусть ноги у меня и спутаны, а уста немы. О, эта жара сводит с ума, пустыня стонет под неумолимым солнцем, а того, другого, Господа любви - коробит от одного имени, - я отринул, потому что узнал его. Он был мечтателем, он проповедовал ложь, ему отрезали язык, чтобы речи его не смущали человечество, его проткнули гвоздями, даже в голову вбили, бедная голова, ровно моя сейчас, какая каша, как я устал, и наверняка не содрогнулась земля, не праведника убили, я не желаю в это верить, нет праведников, есть только жестокие господа, возведшие на царство безжалостную истину. Да, только идол могуч, он единственный бог мира сего, и ненависть его завет, она источник жизни, она - вода, освежающая, как мята, обдающая холодком рот и жаром желудок. Я изменился, и они это поняли, при встрече я целовал им руки, я был из их числа, восхищался ими без устали, доверял им, надеясь, что они изувечат наших, как изувечили меня. Прослышав про миссионера, я уже знал, как поступить. Тот день был похож на другие, все тот же слепящий день, тянувшийся так давно! Под вечер наверху чаши я увидел бегущего стражи, а через несколько минут меня втолкнули в капище и заперли. Там в темноте один из них повалил меня на пол и занес крестообразный меч, и долго длилась тишина, пока обычно безмолвный город не наполнился непонятным шумом, звуком голосов, которые я разобрал с трудом, поскольку говорили на моем языке, но только они зазвучали, острие меча опустилось мне на глаза, и мой страж взглядом пригвоздил меня к полу. Два голоса раздались совсем близко, так и слышу их сейчас, один спрашивал, почему дом охраняется и не прикажете ли, мой лейтенант, высадить дверь, другой отвечал коротко: «Нет», - а минуту спустя добавил, мол, заключено соглашение, по которому город примет гарнизон в двадцать человек, при условии, что они разместятся за городской стеной и не нарушают местных обычаяв. Солдат рассмеялся, дескать, они сдаются, офицер сомневался, так или иначе, они позволили нам лечить их детей и для того допускают к себе священника, а территориальный вопрос после. Первый голос сказал, что, если тут не поставить солдат, они отрежут священику то самое место: «Ну нет! - ответил офицер. - И более того, отец Беффор приедет раньше гарнизона, через два дня он будет здесь». Больше я ничего не слышал, я лежал неподвижно под мечом, и боль раздирила меня изнутри, целое колесо, утыканное иглами и ножами, раскручивалось во мне. Они сошли с ума, лишились рассудка, допустить, чтобы прикоснулись к их городу, к их непобедимому могуществу, к истинному Богу, а тому, который приедет, они не отрежут язык, он будет нагло похваляться своей добротой, ничем за то не заплатив, не снося поруганий. Царство зла отступит, люди снова будут сомневаться и тратить время на мечты о невозможном добре, изнурять себя бесплодными усилиями, вместо того чтобы ускорить пришествие единственного возможного царства, и я глядел на пригвоздившее меня лезвие: о сила, ты одна повелеваешь миром! О сила, город понемногу освобождался от шума, дверь наконец отворилась, испепеленный и полный желчи, я остался наедине с идолом, и тогда я поклялся ему спасти мою новую веру, моих истинных учителей, моего деспотичного бога, поклялся во что бы то ни стало довести предательство до конца.

Э- э, зной малость спадает, камень уже не гудит, я могу вылезти из норы и смотреть, как пустыня окрасится в желтый, охряный, а затем сиреневый цвет. Этой ночью я дождался, пока они заснут, сбил замок и вышел обычным своим, отмеренным веревкой шагом, улицы были мне знакомы, я знал, где взять старое ружье, какие ворота не охраняются, и добрался сюда в тот час, когда скаввшись вокруг горстки звезд, ночь начинает бледнеть, а пустыня темнеет. Сейчас мне кажется, что я уже много дней сижу, затаившись среди этих камней. Скорей бы, скорей бы он приходил, скорей! Еще немного - и они хватятся меня и полетят во все стороны вдогонку, они не узнают, что ради них-то я и сбежал, что я служу им, ноги мои слабы, голод и ненависть подкашивают меня, точно вино. О, о, там, далеко, э-э, на краю тропы два верблюда, они растут, бегут иноходью, а рядом движутся, семенят две короткие тени, верблюды всегда так бегают, бодро и задумчиво. Вот и они наконец! Ружье, быстрей, взвожу курок. О идол, о мой бог, да не ослабнет твое могущество, да продлится поругание, да правит проклятым миром беспощадная ненависть, да будет злой господином во веки веков, да приидет царствие безжалостных черных тиранов в едином порабощенном городе из соли и железа! А теперь «пли!», огонь по жалости, огонь по немощи, по милосердию, что отдаляет пришествие зла, еще раз «пли!», вот они покачнулись, падают, а верблюды мчатся к горизонту, где черные птицы гейзером взметнулись в безоблачное небо. Я смеюсь, смеюсь, а тот, в ненавистной сутане, корчится, приподнимает голову, видит меня, меня, своего

Камю Альбер Изгнание и царство filosoff.org

спутанного по ногам всемогущего господина, почему он мне улыбается, размозжить эту улыбку! Сладостный звук: прикладом по лицу добра, сегодня, сегодня, наконец свершилось, и повсюду в пустыне, во многих часах пути отсюда, шакалы уже приносят к несуществующему ветру и ленивой рысцой тянутся на запах падали, на ожидающее их пиршество. Победа! Я простираю руки к небу, и оно смягчается, лиловая тень заволакивает дальний его край, о европейские ночи, о родина, о детство, почему ж я плачу в минуту торжества?

Он шевельнулся, нет, звук донесся с другой стороны, это они, мои хозяева, летят стаей черных птиц, набрасываются на меня, хватают, а-а-а! да, бейте меня, они испу-

гались за город, они уже видят его со вспоротым брюхом, воющим от боли, они боятся мести солдат, которую я навлек, и поделом священному городу. Теперь защищайтесь, бейте, бейте сначала меня, вы владеете истиной! Мои господа победят затем и солдат, победят слово и любовь, пройдут через пустыни и моря, черными покрывалами затмят свет Европы, бейте в живот, нате, бейте в глаза, рассеют соль по всему континенту, растительность и молодость зачахнут, и толпы немых со спутанными ногами поплещутся вместе со мной по пустыне мира под жестоким солнцем истинной веры, и я не буду больше одинок. О, как больно, как больно, их ярость мне приятна, они распинают меня на седле, пощадите, я улыбаюсь, я благословляю удар, пригвоздивший меня.

Как тиха пустыня! Ночь, я один, хочется пить. Подожди еще, в какой стороне город, шум вдали, солдаты, быть может, победили, нет, нельзя, солдаты, даже победившие, недостаточно жестоки, они не способны сделаться царями, они опять скажут, что надо становиться лучше, и снова миллионы людей будут метаться, разрываясь между добром и злом, о идол, почто ты оставил меня? Все кончено, мучает жажда, тело горит, непроглядная ночь застилает глаза.

Какой долгий, долгий сон, я пробуждаюсь, нет, я умираю, встает заря, для всех живущих - первый луч, новый день, а для меня - неумолимое солнце и мухи. Кто это говорит, никого, небо не отверзлось, нет, нет, Бог не говорит с пустыней, но чей же это голос: «Если ты готов умереть за ненависть и силу, кто простит нас?» Может, это другой язык во мне или же это тот, кто не желает умирать и повторяет у меня в ногах: «Мужайся, мужайся, мужайся»? Что, если я снова ошибся? Люди, бывшие мне некогда братьями, о одиночество, я взываю к вам, не оставьте меня! Вот, вот, кто ты, истерзанный, с окровавленным ртом, это ты, колдун, солдаты победили тебя, там горит соль, это ты, мой возлюбленный господин! Сбрось личину зла, сделайся добром теперь, мы ошиблись, мы начнем сначала, мы построим новый город, город милосердия, я хочу вернуться домой. Да-да, помоги мне, вот так, протяни руку, дай...

Горсть соли засыпала рот болтливого раба.

МОЛЧАНИЕ

Давно наступила зима, а над городом, уже пробудившимся от сна, вставал поистине лучезарный день. За молом голубизна моря сливалась с сияющей лазурью неба. Но Ивар не замечал этого. Он тащился на велосипеде вдоль бульваров, господствовавших над портом. Большую ногу он держал неподвижно на подножке, заменяющей педаль, а здоровой работал изо всех сил, одолевая мостовую, еще влажную от ночной сырости. Он ехал, не поднимая головы, скрючившись над рулем, по привычке старался держаться поодаль от трамвайных рельсов, хотя по ним уже не ходил трамвай, вильнув в сторону, уступал дорогу нагонявшим его машинам и время от времени откидывал локтем за спину съезжавшую сумку, в которую Фернанда положила ему завтрак. При этом он с горечью думал о содержимом сумки. Вместо его любимого омлета по-испански или бифштекса, жаренного на оливковом масле, между двумя ломтями хлеба был всего только кусок сыру.

Никогда еще путь до мастерской не казался ему таким долгим. Что поделаешь, он старел. В сорок лет, хоть ты еще не одряб и, как виноградная лоза, гнешься, да не ломаешься, мускулы уже не те. Иногда, читая спортивные отчеты, в которых тридцатилетнего спортсмена называли ветераном, он пожимал плечами. «Если это ветеран, - говорил он Фернанде, - то мне пора в богадельню». Однако он знал, что журналист не совсем не прав. В тридцать человек уже неприметно сдаёт. В сорок, конечно, еще не время уходить на покой, но к мысли об этом мало-помалу начинаешь загодя привыкать. Не потому ли он давно уже не смотрел на море, когда ехал на другой конец города, где находилась бочарня.

© Перевод на русский язык, издательство «Радуга», 1988

Когда ему было двадцать лет, он не мог наглядеться на море: оно обещало ему счастливые часы на пляже в субботу и в воскресенье. Несмотря на свою хромоту, а может быть, именно из-за нее он всегда любил плавать. Но прошли годы, он женился на Фернанде, родился мальчиконка, и, чтобы сводить концы с концами, пришлось по

субботам оставаться на сверхурочные в бочарне, а по воскресеньям халтурить на стороне. Мало-помалу он отыскал утолять в эти дни буйство крови. Глубокая и прозрачная вода, горячее солнце, девушки, жизнь тела - другого счастья не знали в их краю. А это счастье проходило вместе с молодостью. Ивар по-прежнему любил море, но только на исходе дня, когда вода в бухте слегка темнела. В этот час приятно было сидеть на террасе дома в свежей рубашке, которую Фернанда умела так хорошо погладить, перед запотевшим стаканом анисовки. Вечерело, небо перед закатом окрашивалось в нежные тона, и соседи, разговаривавшие с Иваром, почему-то вдруг понижали голос. В такие минуты Ивар не знал, то ли он счастлив, то ли ему хочется плакать. Во всяком случае, на него находило какое-то умиротворенное настроение, и ему оставалось только тихо ждать, он и сам не знал чего.

А вот утром, когда он ехал на работу, он не любил смотреть на море, которое всегда в назначенный час являлось на свидание с ним, но с которым ему тут же приходилось расставаться до вечера. В это утро он ехал, понурив голову, и ехать ему было еще тяжелее, чем обычно, потому что и на сердце было тяжело. Когда накануне вечером он вернулся с собрания и объявил, что они возобновляют работу, Фернанда обрадовалась и сказала: «Значит, хозяин дает вам прибавку?» Хозяин не давал никакой прибавки, забастовка провалилась. Они плохо действовали, приходилось это признать. Это была забастовка, рожденная вспышкой гнева, и профсоюз имел основания отнести к ней прохладно. К тому же полтора десятка рабочих - не бог весть что; профсоюз считался с другими бочарнями, которые их не поддержали. А на них тоже нельзя было слишком обижаться. Бочарное дело, которому создавало угрозу строительство наливных судов и производство автоцистерн, не очень-то процветало. Делали все меньше и меньше бочонков и бочек и главным образом чинили уже имеющиеся большие чаны. Дела у хозяев шли неважно, это верно, но они хотели все же сохранить свои прибыли; проще всего им казалось заморозить заработную плату, несмотря на рост цен. Как быть бочарам, когда исчезает бочарный промысел? Профессию не меняют, если приобрести ее было не так-то просто. А это была трудная профессия, она требовала долгого обучения. Редко встречается хороший бочар, который пригоняет изогнутые клепки, крепит их на оgne и стягивает железными обручами почти герметически, не пользуясь ни рафией, ни паклей. Ивар это знал и гордился этим. Переменить профессию ничего не стоит, но отказаться от того, что умеешь, от своего собственного мастерства - это нелегко. Хорошая профессия не имела применения, податься было некуда, приходилось смириться. Но и смириться было нелегко. Это значило придерживать язык, не имея возможности по-настоящему спорить, и каждое утро, отправляясь на работу, чувствовать, как накапливается усталость, а в конце недели получать то, что вам изволят дать, то есть гроши, которых не хватает на жизнь, потому что изо дня в день все дорожает.

И вот они обозлились. Поначалу двое или трое колебались, но и их взяла злость после первых переговоров с хозяином. Он сухо сказал, что торговаться не намерен, кому не нравится, может уходить. Разве это человеческий разговор? «Что он воображает! - сказал Эспосито. - Уж не думает ли он, что мы наделаем в штаны?» Вообще говоря, хозяин был неплохой малый. Мастерская перешла к нему от отца, он вырос в ней и знал с давних лет почти каждого рабочего. Иногда он приглашал их закусить в бочарне; они жарили сардины или кровяную колбасу, подбрасывая в огонь щепки и стружки, и, сидя с ними за стаканом вина, он был, что называется, душа-человек. На Новый год он всегда давал каждому рабочему по пять бутылок доброго старого вина и часто, когда кто-нибудь из них заболевал или просто по случаю какого-нибудь события, например, свадьбы или первого причастия, делал им денежные подарки. Когда у него родилась дочь, он всех оделил конфетами. Два или три раза приглашал Ива-ра походить в свое поместье на побережье. Он и в самом деле любил своих рабочих и частенько напоминал, что его отец выбился в люди из подмастерьев. Но он никогда не бывал у них, ему это и в голову не приходило. Он думал только о себе, потому что знал только свое положение, и вот теперь заявлял, что не намерен торговаться. Иначе говоря, он в свою очередь застращался. Но он-то мог себе это позволить.

Они добились согласия от профсоюза и объявили забастовку. «Не трудитесь расставлять стачечные пикеты, - сказал хозяин. - Когда мастерская не работает, я только выгадываю». Это была неправда, но это подлило масла в огонь, потому что тем самым он им в лицо говорил, что дает им работу из милости. Эспосито пришел в бешенство и сказал ему, что он не похож на человека. Тот вскипал, и их пришлось разнимать. Однако решительность хозяина произвела впечатление на рабочих.

Двадцать дней продолжалась забастовка, дома печальные женщины ждали, когда она кончится, два или три товарища упали духом, а под конец профсоюз посоветовал им уступить, удовлетворившись обещанием арбитража и возмещения потерянных рабочих дней сверхурочными часами. Они решили возобновить работу. Конечно, хорохорясь,

мол, это еще не конец, еще посмотрим, чья возьмет. Но в это утро Ивар физически ощущал тяжесть поражения, в сумке был сыр вместо мяса, и строить себе иллюзии было невозможно. Пусть море сверкало на солнце, оно ему уже ничего не обещало. Он нажимал на единственную педаль своего велосипеда, и ему казалось, что он стареет с каждым поворотом колеса. При мысли о мастерской, о товарищах и о хозяине, которого он снова увидит, на сердце у него становилось все тяжелее. Фернанда спросила: «Что же вы ему скажете?» «Ничего, будем работать», - ответил Ивар, перекинув ногу через раму велосипеда, и покачал головой. Он сжал зубы, и его тонкое смуглолое лицо, изрезанное морщинами, стало непроницаемым. Так он и ехал, скав зубы, во власти бессильной, иссушающей злобы, омрачавшей в его глазах даже само небо.

Он оставил позади бульвар и море и поехал по сырым улицам старого испанского квартала. Они выходили на незастроенный участок, занятый только сарайями, свалка-Ми железного лома и гаражами, среди которых возвышалась мастерская - своего рода барак, до середины каменный и застекленный до самой крыши из гофрированного железа. Мастерская примыкала к старой бочарне - двору с навесами вдоль стен, который был заброшен, когда предприятие разрослось, и теперь превратился в склад для отслуживших свое машин и старых бочек. За двором, отделенный от него галереей, крытой потрескавшейся черепицей, начинался хозяйствский сад, в глубине которого возвышался дом. Большой и уродливый, он тем не менее имел приветливый вид благодаря крыльцу, увитому диким виноградом и жимолостью.

Ивар сразу увидел, что двери мастерской закрыты. Перед ними молча толпились рабочие. Впервые с тех пор, как он работал здесь, он, приехав, нашел двери на запоре. Видно, хозяин хотел этим подчеркнуть, что он взял верх. Ивар подъехал к навесу, пристроенному к бараку с левой стороны, поставил велосипед и направился к двери. Он издали узнал Эспосита, рослого молодца, смуглого и волосатого, который работал рядом с ним, Марку, профсоюзного уполномоченного, у которого всегда было мечтательно-томное выражение лица, как у модного тенора, Сайда, единственного алжирца в мастерской, а потом и других, молча поджидавших его. Но прежде чем он к ним подошел, они вдруг повернулись к дверям мастерской, которые в эту минуту приоткрылись. В проеме показался Баллестер, мастер. Он потянул на себя одну из тяжелых створок и, повернувшись спиной к рабочим, стал медленно толкать ее по вделанному в пол рельсу.

Баллестер, самый старший из них, выступал против забастовки, но умолк, когда Эспосито сказал ему, что он служит интересам хозяина. Теперь он стоял возле двери, коренастый и приземистый, в своей голубой фуфайке, уже босиком (только Сайд да он работали босые), и смотрел на них своими светлыми глазами, до того светлыми, что они казались бесцветными на его старом, выдубленном лице с горько искривленным ртом под густыми обвисшими усами. Они молчали, униженные тем, что входили, как побежденные, в ярости от своего собственного молчания, которое им тем труднее было прервать, чем больше оно продолжалось. Они проходили, не глядя на Бал-лестера; они знали, что, пропуская их по одному, он лишь выполняет распоряжение хозяина, и по его обиженному и грустному виду догадывались, что он думает. Но Ивар посмотрел на него. Баллестер, который любил Иvara, ни слова не говоря, покачал головой.

Теперь они были все в маленькой раздевалке справа от входа, разделенной на кабины без дверец, похожие на стойла, дощатыми перегородками с привешенными к ним шкафчиками, которые запирались на ключ; в последнем от входа стойле, в углу барака, был установлен душ, а под ним в земляном полу вырыта сточная канавка. Посреди барака белели собранные бочки с еще свободными обручами, которые обожмут над огнем, стояли тяжелые скамьи с длинной прорезью, из которой кое-где торчали круглые днища, ждавшие обточки фуганком, и почерневшие горны. Вдоль стены слева от входа тянулись верстаки, а перед ними были навалены груды необструганных клепок. У правой стены, неподалеку от раздевалки, блестели, затаив свою силу, две большие, хорошо смазанные электропилы.

Барак давно уже стал слишком большим для горстки людей, которые в нем работали. В жару это было хорошо, в зимние холода - плохо. Но сегодня в этом просторном помещении было как-то особенно неприятно: остановившаяся работа, брошенные по углам бочки с единственным обручем, соединявшим нижние концы клепок, которые вверху расходились, как топорные лепестки деревянного цветка, опилки, покрывавшие станки, ящики с инструментами и машины - все придавало мастерской запущенный вид. Рабочие, переодевшиеся в старые фуфайки и вылинявшие, заплатанные штаны, замешкавшись, озирались вокруг, а Баллестер выжидательно смотрел на них. «Ну что же, начнем?» - сказал он наконец. Они молча разошлись по своим местам. Баллестер переходил от одного к другому, в нескольких словах напоминая каждому, какую работу начинать или доканчивать. Никто ему не отвечал. Скоро первый молоток застучал по зубилу, набивая обруч на утолщенную часть

бочки, скрипнул фуганок по сучку, и, вгрызаясь в дерево, завиляла электропила, которую включил Эспосито. Сайд подносил клепки или разжигал костер из стружек, над которым держали бочки, пока они не разбухали в своем железном корсете. Когда его никто не звал, он клепал на верстаке большие ржавые обручи. По бараку начал распространяться запах горящих стружек. Ивар, который обстругивал и подгонял клепки, нарезанные Эспосито, узнал этот привычный запах, и у него слегка отлегло от сердца. Все работали молча, но в мастерской мало-помалу возрождалась жизнь, рассеивалась атмосфера запустения. Барак наполнял яркий свет, вливавшийся сквозь огромные стекла. В золотистом воздухе синели дымки. Ивар даже услышал возле себя жужжение какого-то насекомого.

В эту минуту в задней стене барака открылась дверь, выходившая в старую бочарню, и на пороге показался хозяин, господин Лассаль. Это был худощавый брюнет лет тридцати с небольшим, в бежевом габардиновом костюме и белой рубашке под распахнутым пиджаком. Несмотря на то, что лицо у него было костистое, узкое, с острыми чертами, он обыкновенно внушал симпатию, как большинство людей, которые благодаря спорту держатся свободно и раскованно. Однако на этот раз вид у него был слегка смущенный, и поздоровался он не так громко, как обычно; во всяком случае, ему никто не ответил. Молотки на мгновение застучали тише, вразлад, потом загрохотали с новой силой. Господин Лассаль сделал несколько нерешительных шагов и направился к Валери, пареньку, который работал с ними всего только год. Он неподалеку от Ивара, возле электропилы, приложив днище к бочке, и хозяин стал наблюдать за ним. Валери продолжал молча работать. «Ну, как дела, сынок?» - сказал господин Лассаль. Движения юноши вдруг стали неловкими. Он бросил взгляд на Эспосито, который рядом с ним собирал в огромную охапку клепки, чтобы отнести их Ивару. Эспосито, продолжая заниматься своим делом, в свою очередь посмотрел на Валери, и тот снова уткнул нос в бочку, ничего не ответив хозяину. Лассаль, слегка озадаченный, с минуту постоял возле юноши, потом пожал плечами и повернулся к Марку, который, сидя верхом на скамье, неторопливыми, точными движениями обтачивал по окружности днище. «Добрый день, Марку», - сказал Лассаль теперь уже сухим тоном. Марку не ответил, всем своим видом показывая, что заботится только о том, чтобы снимать как можно более тонкие стружки, и ни на что другое не обращает внимания. «Что на вас нашло? - громко сказал Лассаль, обращаясь на этот раз к остальным рабочим. - Верно, мы не поладили. Но тем не менее нам надо работать вместе. Так к чему же все это?» Марку встал, поднял днище, провел ладонью по его окружности, прищурил свои томные глаза с видом полнейшего удовлетворения и, по-прежнему сохраняя молчание, направился к другому рабочему, который собирал бочку. Во всей мастерской слышен был только стук молотков да визг электропилы. «Ну ладно, когда у вас это пройдет, дадите мне знать через Баллестера», - сказал господин Лассаль и спокойным шагом вышел из мастерской.

Почти сразу после этого, перекрывая оглушительный шум, дважды прозвенел звонок. Баллестер, только что присевший покурить, тяжело поднялся и пошел к задней двери. После его ухода молотки застучали тише, а один из рабочих даже остановился, но тут Баллестер вернулся. Войдя, он сказал только: «Марку и Ивар, вас просит хозяин». Ивар направился было помыть руки, но Марку на ходу схватил его за локоть, и он, прихрамывая, последовал за ним.

На дворе свет был такой яркий, такой насыщенный, что Ивар ощущал его, как жидкость, на лице и на обнаженных руках. Они поднялись по ступенькам крыльца под жимолостью, на которой кое-где уже показались цветы. Когда они вошли в коридор, стены которого были увешаны дипломами, они услышали детский плач и голос господина Лассала, который говорил: «После завтрака уложи ее в постель. Если это не пройдет, позовем доктора». Потом хозяин вышел в коридор и провел их в уже знакомый им маленький кабинет, обставленный в так называемом сельском вкусе, где на стенах красовались охотничьи трофеи. «Садитесь», - сказал господин Лассаль и сел за свой письменный стол. Они продолжали стоять. «Я пригласил вас потому, что вы, Марку, профсоюзный уполномоченный, а ты, Ивар, - мой старейший служащий после Баллестера. Я не хочу снова вступать в спор, на котором теперь поставлена точка. Я не могу, решительно не могу дать вам то, что вы просите. Вопрос исчерпан, мы пришли к заключению, что нужно возобновить работу. Я вижу, что вы на меня обижаетесь, и, скажу откровенно, мне это тяжело. Я хочу только добавить следующее: то, что я не могу сделать сегодня, я, быть может, смогу сделать, когда дела поправятся. И если я смогу, я это сделаю, не дожидаясь, чтобы вы меня об этом попросили. А пока попытаемся дружно работать». Он помолчал, как бы размышляя, потом поднял на них глаза и спросил: «Ну как?» Марку смотрел в окно. Ивар, который слушал хозяина, скав зубы, хотел заговорить, но не смог. «Послушайте, - произнес Лассаль, - вы все залезли в бутылку. Это пройдет. Но когда вы снова будете в состоянии спокойно рассуждать, не забудьте то, что я вам сейчас сказал». Он встал, подошел к Марку и протянул ему руку, бросив: «Чао!»

Марку побледнел, его мечтательное лицо отвердело и в одно мгновение стало злым. Он повернулся на каблуках и вышел. Лассаль, тоже побледневший, посмотрел на Ивара, не протягивая ему руки, и крикнул: «Ну и катитесь!» Когда они вернулись в мастерскую, рабочие завтракали. Баллестер куда-то вышел. Марку сказал только: «Пустые слова», - и направился на свое рабочее место. Эспосито, жевавший ломоть хлеба, спросил, что они ответили. Ивар сказал, что они ничего не ответили. Потом он сходил за своей сумкой и сел на скамью, где работал. Он начал было есть, как вдруг заметил, что Сайд лежит неподалеку от него на куче стружек, устремив взгляд на стекла, за которыми синело небо, теперь уже не такое солнечное. Ивар спросил у него, позавтракал ли он. Сайд сказал, что съел свои фиги. Ивар перестал есть. Тягостное чувство, не оставлявшее его с той минуты, как он вышел от Лассала, внезапно пропало, уступив место теплому участию. Он встал и, разломив свой сандвич, протянул половину Сайду. Тот отказывался, но Ивар ободрил его, сказав, что на следующей неделе все пойдет на лад, и добавив: «Тогда ты меня угостишь». Сайд улыбнулся и, взяв кусок сандвича, принялся за него - не спеша, деликатно, как человек, который не голоден. Эспосито разжег костерик из стружек и щепок и, достав старую кастрюлю, разогрел в ней кофе, который принес из дома в бутылке. Он сказал, что этот кофе подарил мастерской лавочник с его улицы, когда узнал, что забастовка потерпела провал. Заменившая стакан банка из-под горчицы переходила из рук в руки. Эспосито каждому наливал кофе, в который уже был положен сахар. Сайд проглотил свою порцию куда охотнее, чем ел. Эспосито выпил остаток кофе прямо из кастрюли, обжигая губы, причмокивая и ругаясь. Тут вошел Баллестер и объявил конец перерыва.

Когда они поднимались и убирали в сумки бумагу и посуду, Баллестер стал среди них и вдруг сказал, что им всем туда пришлось, и ему тоже, но это еще не причина, чтобы вести себя как дети, и ни к чему дуться, этим дела не поправишь. Эспосито с кастрюлей в руке повернулся к нему, и его толстое лицо побагровело. Ивар знал, что он скажет и что все думали вместе с ним: что они не дулись, что им заткнули рот - кому не нравится, может уходить - и что от бессильного гнева подчас бывает так тяжело, что не можешь даже кричать. Они были живые люди, вот и все, и им было не до улыбок и ужимок. Но Эспосито ничего этого не сказал, его нахмуренное лицо наконец разгладилось, и он легонько похлопал Баллестера по плечу, а остальные тем временем разошлись по своим местам. Снова застучали молотки, и просторный барак наполнился привычным грохотом, запахом стружек и пропотевшей одежды. Жужжала электропила, вгрызаясь в свежую доску, которую Эспосито медленно толкал вперед. Из-под зубцов летели влажные опилки, покрывая, как панировкой, здоровые волосатые руки, крепко державшие доску с обеих сторон лезвия. Когда Эспосито отрезал клепку, жужжанье затихало и слышен был только шум мотора.

Ивар, склонившийся над фуганком, уже чувствовал ломоту в спине. Обычно усталость приходила позже. За те три недели, что они бастовали, он потерял навык. Но он думал также о том, что с возрастом ручной труд становится тяжелее, если он требует не только хорошего глазомера и точности. Помимо всего прочего, эта ломота предвещала старость. Там, где главное мускулы, труд в конце концов становится проклятьем. Он предшествует смерти, и недаром, когда за день как следует наломаешь спину, вечером засыпаешь мертвым сном. Его парнишка хотел быть учителем, и он был прав: те, кто разлагольствуют о прелестях физического труда, не знают, о чем говорят.

Когда Ивар выпрямился, чтобы перевести дух, а заодно стряхнуть черные мысли, снова раздался звонок. Он звучал настойчиво и до того странно - с короткими перерывами и властными повторами, - что рабочие остановились. Баллестер с минуту удивленно прислушивался, потом медленно направился к двери. Только через несколько секунд после его ухода звонок наконец умолк. Они опять принялись за работу. Дверь снова распахнулась, и Баллестер побежал к раздевалке. Он вышел из нее в матерчатых туфлях, натягивая куртку, на ходу бросил Ивару: «Маленькой плохо. Я пошел за Жерменом», - и побежал к входной двери. Доктор Жермен обслуживал мастерскую; он жил в том же предместье. Ивар повторил товарищам то, что сообщил ему Баллестер, ничего не добавив от себя. Они толпились вокруг него, в замешательстве глядя друг на друга. Слышно было только, как вхолостую работает мотор электропилы. «Может, ничего страшного», - сказал один из них. Они вернулись на свои места, и мастерская опять наполнилась шумом, но работали они мешкотно, как будто чего-то ждали.

Спустя четверть часа Баллестер вернулся, снял куртку и, ни слова не говоря, вышел через заднюю дверь. Свет в окнах тускнел. Немного погодя, в промежутки относительной тишины, когда пила не вгрызилась в дерево, стал слышен гудок санитарной машины, сначала приглушенный, отдаленный, потом уже близкий. И вот он умолк: машина подъехала. Через некоторое время Баллестер вернулся, и все

Камю Альбер Изгнание и царство filosoff.org

обступили его. Эспосито выключил мотор. Баллестер сказал, что, раздеваясь в своей комнате, девочка вдруг упала как подкошенная. «Вот так штука!» - проронил Марку. Баллестер покачал головой и сделал неопределенный жест, наверное, означавший, что тем не менее работа не ждет; но вид у него был расстроенный. Снова послышался гудок санитарной машины. В притихшей мастерской рабочие в своих старых фуфайках и обсыпанных опилками штанах стояли под потоками желтого света, лившегося сквозь стекла, беспомощно опустив загрубелые руки.

Остаток дня тянулся медленно. Ивар чувствовал теперь только усталость и все ту же тяжесть на сердце. Он хотел бы поговорить. Но ему нечего было сказать, и другим тоже. На их замкнутых лицах можно было прочесть лишь печаль и какое-то упорство. Иногда на язык ему приходило слово «несчастье», но пропадало, едва сложившись, как лопается пузырек на воде, не успев возникнуть. Ему хотелось домой, к Фернанде, к мальчику, да и к своей террасе. Но вот Баллестер объявил конец работы. Машины остановились. Рабочие начали не спеша гасить горны и прибирать на своих рабочих местах, потом один за другим направились в раздевалку. Только Саид задержался - он должен был поднести и побрызгать водой пыльный земляной пол. Когда Ивар пришел в раздевалку, Эспосито, огромный и волосатый, уже стоял под душем и шумно намыливался, повернувшись спиной к товарищам. Обычно они подшучивали над его стыдливостью: этот медведь упорно прятал свой перед. Но теперь никто не обратил на это внимания. Эспосито, пятаясь, вышел из кабины, и взял полотенце, сделал себе из него нечто вроде набедренной повязки. За ним стали по очереди мыться остальные, и Марку с силой шлепал себя по голым бокам, когда, скрипя колесиком по желобу, медленно открылась главная дверь. Вошел Лассаль.

Он был одет так же, как утром, только волосы у него были слегка взъерошены. Он остановился на пороге, окинул взглядом опустевшую мастерскую, сделал несколько шагов, опять остановился и посмотрел в сторону раздевалки. Эспосито, все еще в своей набедренной повязке, повернулся к нему. С минуту он смущенно переминался с ноги на ногу. Ивар подумал, что Марку должен сказать что-нибудь. Но Марку оставался за занавеской струившейся на него воды. Эспосито схватил рубашку, проворно надел ее, и в эту минуту Лассаль слегка приглушенным голосом сказал: «Всего хорошего», - и направился к задней двери. Когда Ивар подумал, что надо его окликнуть, дверь уже закрылась за ним.

Ивар оделся, не помывшись, тоже сказал «всего хорошего», но от всего сердца, и товарищи ответили ему так же тепло. Он быстро вышел, взял свой велосипед и, когда сел на него, снова почувствовал ломоту в спине. Близился вечер, и город теперь был запружен людьми и машинами. Но он ехал быстро, торопясь добраться до своего старого дома с террасой. Там он помоется в прачечной, а потом сядет полюбоваться на море, которое уже провожало его, - он видел поверх парапета его синеву, более густую, чем утром. Но и мысль о девочке провожала его, он не мог не думать о ней.

Дома мальчик, вернувшись из школы, читал иллюстрированные журналы. Фернанда спросила Иvara, как все обошлось. Он ничего не ответил, помылся в прачечной, потом вышел на террасу и сел на скамейку лицом к морю под развешанным для просушки чиненным-перечиненным бельем. Море было по-вечернему тихое, а небо над ним становилось прозрачным. Фернанда принесла анисовку, два стакана и кувшин с холодной водой. Она села возле мужа. Он ей все рассказал, держа ее за руку, как бывало в первое время после их свадьбы. Кончив, он долго сидел неподвижно, устремив взгляд на море, где на всем горизонте, от края до края, быстро надвигались сумерки. «Он сам виноват!» - проронил Ивар. Ему хотелось бы быть молодым и чтобы Фернанда тоже была еще молодой и они бы уехали куда-нибудь далеко, за море.

ГОСТЕПРИИМСТВО

Учитель смотрел, как те двое поднимаются по склону в его сторону. Один на лошади, другой пешком. Они еще не ступили на проложенную по крутизне тропинку, которая вела к примостившейся на холме школе - тащились еле-еле по снегу, меж камней бескрайнего пустынного плато. Лошадь временами оступалась, это заметно было. Слышать, не слышно, а вот как пар из ноздрей вырывается - видно. Те двое, или один из них, местность знали. Они следовали точно по тропе, уже несколько дней скрытой под грязно-белым покровом. Учитель прикинул, что раньше, как за полчаса, им до вершины не добраться. Было холодно; он вернулся в школу за свитером.

Прошел насквозь через пустой заледенелый класс. По грифельной доске уже третьи сутки текли к устьям нарисованные четырьмя разноцветными мелками четыре главные реки Франции. Снег выпал неожиданно, в середине октября, после восьмимесячной засухи, минуя благодатный период дождей, и два десятка учеников, живших в разбросанных там-сям по плоскогорью деревнях, перестали приходить. Оставалось

Камю Альбер Изгнание и царство filosoff.org

дожидаться, пока распогодится. Дарю отапливал теперь только одну комнату, прымкающую к классной и обращенную одним окном на восток - ту, где жил сам. Другое окно, как и окна классной, выходило на юг. С этой стороны всего в нескольких километрах от школы, плоскогорье понижалось. В ясную погоду можно было различить лиловатую массу горного отрога у самого порога пустыни. Отогревшись немного, Дарю возвратился к окну, откуда впервые заметил путников. Они теперь скрылись из виду.

© Перевод на русский язык, И. Радченко, 1998

Стало быть, вступили на откос. Небо слегка просветлело: ночью снегопад прекратился. Утро обозначило себя грязноватым светом, ставшим лишь чуточку ярче по мере того, как облачный потолок отодвигался от земли. В два часа пополудни казалось, будто день еще только занимается. И все же не сравнить с тремя предыдущими, когда густой снег валил средь беспросветных сумерек, а шквалистый ветер сотрясал двойную дверь школы. В эти томительные часы Дарю отсиживался в комнате и выходил лишь присмотреть за курами да почерпнуть в пристройке угля. По счастью, грузовичок из Таджида, ближайшей деревни к северу от школы, завез ему припасы за два дня до ненастя. Через двое суток он приедет снова. Впрочем, имеющихся у него запасов хватило бы на то, чтобы выдержать целую осаду: комнатенка была завалена мешками зерна, которые местные власти оставляли ему для раздачи тем из детей, чьи семьи пострадали от засухи. Пострадали же все, поскольку все были бедны. Дарю ежедневно раздавал малышам положенную пайку. Сейчас, в непогоду, им ее сильно недоставало, что и говорить. Возможно, вечером к нему нагрянет кто-нибудь из отцов или старших братьев, и он снабдит их зерном. Дотянуть бы только до следующего урожая. Уже сейчас шли из Франции корабли с зерном, самое тяжелое время осталось позади. Но еще не скоро забудутся пережитые невзгоды, полчища одетых в лохмотья теней, блуждающих под палящим солнцем, прокаливаемые месяц за месяцем плоскогорья, склокившаяся, иссохшая, буквально испепеленная земля, где камни под ногами обращались в пыль. Овцы падали тысячами, а порой и люди, там, сям, безвестно.

На фоне здешней нищеты он, живший чуть ли не отшельником в затерянной среди пустынь школе и довольствовавшийся тем малым, что имел, даже и самой этой суровой жизнью, чувствовал себя барином - обладателем мазаных стен, узенького дивана, некрашеных деревянных полок и собственного колодца - да еще при еженедельном снабжении водой и продовольствием. И вдруг этот снег, обрушившийся нежданно-негаданно, не дав передохнуть дождем. Таков был здешний край, жестокий даже и в отсутствие человека. Присутствие людей, впрочем, ничего не меняло. Но Дарю родился тут и в любом другом месте чувствовал себя изгнаником.

Он вышел на насыпную площадку перед школой. Путники достигли уже середины склона. Он узнал верхового: это был Бальдуччи, старый жандарм, давний его знакомец. Бальдуччи вел за собой на веревке араба со связанными руками, тот плелся понурив голову. Жандарм приветственно махнул рукой, Дарю не ответил, его вниманием владел араб, одетый в некогда голубую джеллабу, обутый в сандалии поверх носков из грубой нечесаной шерсти, на голове - узкая полоска материи, повязанная тюрбаном. Они приближались. Щадя арестанта, Бальдуччи сдерживал лошадь, так что продвигались они медленно.

Подойдя настолько, что его можно было услышать, Бальдуччи крикнул: «От Эль-Амера три километра целый час идем!» Дарю не ответил. Он стоял и смотрел на них, толстый свитер делал его фигуру приземистой и широкоплечей. Араб ни разу не поднял головы. «Привет, - сказал Дарю, когда те взошли на площадку. - Зайдите погреться». Бальдуччи тяжело соскользнул с лошади, не выпуская из рук веревки. Улыбнулся учителю сквозь топорщающиеся усы. Маленькие темные глазки, глядевшие из-под нависающего смуглого лба, и обрамленный морщинами рот придавали его лицу выражение внимательное и усердное. Дарю взял повод, отвел лошадь к сараю и вернулся к гостям, ожидавшим его уже в школе. Проводил их в комнату. «Я затоплю в классе. Там будет удобнее», - добавил он. Когда он возвратился, Бальдуччи сидел на диване. Он отвязал веревку, на которой привел араба, и тот примостился на корточках возле печки. Руки у него оставались связанными, тюрбан съехал назад, он смотрел на окно. На всем лице Дарю сначала увидел только губы - огромные, полные, лоснящиеся, прямо как у нефа; нос, однако, был прямой, глаза темные, с лихорадочным огнем. Сдвинутый назад тюрбан приоткрыл упрямый лоб, лицо с опаленной солнцем, но чуть обесцвеченной холодом кожей хранило выражение встревоженное и непокорное, которое и поразило Дарю, когда араб, повернув голову, взглянул ему прямо в глаза. «Проходите в класскую, - сказал учитель. - Сейчас я заварю вам чай с мятою». «Спасибо, - ответил Бальдуччи. - Ну и работенка! Скорей бы на пенсию». И прибавил по-арабски, обращаясь к пленнику: «Ну, ты, пошли!» Араб поднялся, держа перед собой связанные в запястьях руки, и медленно прошел в помещение школы.

Вместе с чаем Дарю принес стул. Однако Бальдуччи уже восседал на первой парте, а араб пристроился возле учительского помоста лицом к печи, расположенной между столом и окном. Дарю протянул было пленнику стакан с чаем, но, взглянув на его руки, растерялся и спросил: «Может, развязать его?» «Само собой. Веревка – это на дорогу», – ответил Бальдуччи, нехотя приподнимаясь. Но Дарю уже поставил стакан на пол и опустился на колени возле араба. Тот молча наблюдал за ним лихорадочно блестящими глазами. Когда Дарю освободил его, он потер одно об другое распухшие запястья, взял стакан и стал маленькими глотками быстро втягивать в себя обжигающую жидкость.

– Так, – сказал Дарю. – И куда же вы направляетесь?

Бальдуччи вынул усы из чая:

– Сюда, сынок.

– Хороши ученички! Вы здесь заночуете?

– Нет. Я вернусь в Эль-Амер. А ты доставишь вот этого товарища в Тингит. Его ждут в смешанной франко-мусульманской коммуне.

Бальдуччи дружелюбно улыбнулся Дарю краешком губ.

– Что за чушь! – возмутился учитель. – Ты шутишь?

– Ничуть, сынок. Таков приказ.

– Приказ? Да я ж не... – Дарю осекся: не хотелось огорчать старика-корсиканца. – Короче, не мое это дело.

– Ух ты! Ну и что с того? на войне любое дело – твое.

– В таком случае я подожду, когда объявит войну. Бальдуччи кивнул:

– Хорошо. Но приказ уже поступил, и тебя он тоже касается. Неспокойно нынче.

Поговаривают о бунте. Считай, мы уже мобилизованы.

Дарю глядел насупившись.

– Послушай, сынок, – сказал Бальдуччи. – Я тебя люблю, ты должен меня понять. Нас в Эль-Амере – на всю территорию маленького департамента – дюжина, мне надо вернуться. Мне велено вручить этого типа тебе и сразу назад. Там его оставлять нельзя было. Его деревня бурлила, отбить его у нас хотели. Ты должен завтрашим днем отвести его в Тингит. Двадцать километров такому молодцу, как ты, не помеха. А после – все. Вернешься к своим ученикам и уютной жизни.

Слышно было, как за стеной фыркает и бьет копытом лошадь. Дарю смотрел в окно. Облака отступали, по заснеженному плоскогорью все шире разливался свет. Когда снег стает, солнце снова воцарится и будет, как прежде, жечь камни. И снова долгими днями безоблачное небо будет изливать безжалостный свет на пустынное пространство, где ничто не напоминает о человеке.

– Н-да, – произнес Дарю, поворачиваясь к Бальдуччи. – А за что его? – И прежде, чем стариk открыл рот, спросил еще: – Он понимает по-французски?

– Нет, ни слова. Мы его целый месяц искали, они его прятали. Родственника убил.

– Он против нас?

– Вряд ли. Хотя кто их знает...

– А почему убил?

– Какие-то семейные дела. Один вроде бы другому зерна задолжал. Точно не знаю. В общем, короче, зарезал родственничка садовым ножом. Понимаешь, как барана, чик!... Бальдуччи провел рукой, будто лезвием, по горлу, чем привлек внимание арестованного: тот беспокойно уставился на жандарма. Дарю внезапно вскипел яростью к этому человеку, ко всем людям на свете с их гнусной злобой, беспредельной ненавистью, бешенством в крови.

Но на плите закипел чайник. Дарю подлил чаю Бальдуччи, потом, постояв в нерешительности, подал второй стакан арабу, и тот снова жадно осушил его. Когда араб приподнял руки, Дарю увидел сквозь разрез джеллабы его тощую мускулистую грудь.

– Спасибо, малыш, – сказал Бальдуччи. – Ну, а теперь я пошел.

Он поднялся и направился к арабу, доставая из кармана веревку.

– Что ты делаешь? – сухо спросил Дарю. Бальдуччи остановился в недоумении и показал ему

веревку.

– Не надо.

Старик- жандарм заколебался.

– Как хочешь. Оружие у тебя, конечно, есть?

– У меня есть охотничье ружье.

– Где?

– В чемодане.

– Надобно держать его возле кровати.

– Зачем? Мне нечего бояться.

– Совсем рехнулся? Если они взбунтуются, никто из нас не застрахован, мы все для них едины.

– Я сумею защититься. Я их издали увижу. Бальдуччи расхохотался, но затем его

белые еще зубы

внезапно скрылись под усами.

- Издали, говоришь? Угу. Так я и думал. Ты всегда был немножко чокнутым. За это я тебя и люблю, мой сын тоже таким был.

С тем он достал револьвер и положил его на стол.

- На, возьми. Мне на обратную дорогу и ружья хватит.

Револьвер поблескивал на черной столешнице. Когда жандарм обернулся, учитель почувствовал, как от него пахнет кожей и лошадью.

- Послушай, Бальдуччи, - сказал вдруг Дарю. - Мне все это противно, и парень твой в первую очередь. Но сдавать я его не буду. Сражаться - пожалуйста, если надо. Но только не это.

Старик стоял перед ним и строго на него смотрел.

- Не дури, - произнес он медленно. - Мне, знаешь, тоже не все нравится.

Связывать человека - к этому и с годами не привыкаешь, мне даже стыдно, если хочешь. Но нельзя им все позволять.

- Сдавать я его не стану, - повторил Дарю.

- Говорю же тебе, сынок, это - приказ.

- Нет. Так и передай своему начальству, что я его сдавать не стану.

Бальдуччи напряженно соображал. Он смотрел то на араба, то на Дарю. Наконец, решился.

- Нет. Я им ничего не скажу. Не хочешь с нами заодно - дело твое, я на тебя доносить не стану. Мне приказали передать задержанного тебе, я это и делаю. Давай распишись.

- Это лишнее. Я не собираюсь отрицать, что ты мне его доставил.

- Не дерзи. Знаю, ты скажешь правду. Ты здешний, ты мужчина. Но подписать надо, таков порядок.

Дарю открыл ящик стола, достал прямоугольный пузырек фиолетовых чернил, красную деревянную ручку с пером «фельдфебель», которой писал ученикам образцы, и поставил подпись. Жандарм аккуратно сложил расписку и убрал в бумажник. Затем направился к двери.

- Я провожу тебя, - предложил Дарю.

- Не надо, - ответил Бальдуччи. - Ни к чему мне твоя вежливость. Ты меня оскорбил.

Он поглядел на араба, неподвижно сидевшего на одном месте, горестно шмыгнул носом и повернулся к двери.

- Прощай, сынок, - проговорил он.

Дверь за ним с шумом захлопнулась. Бальдуччи промелькнул в окне и исчез. Снег заглушил его шаги. За стенкой встревожилась лошадь, всполошились куры. Минуту спустя Бальдуччи снова появился за окном, ведя лошадь под уздцы. Он шел, не оборачиваясь, и вскоре скрылся на спуске, а вслед за ним и лошадь. Слыshно было, как под откос мягко покатился большой камень. Дарю вернулся к пленнику, тот продолжал сидеть не двигаясь, но глаз с Дарю не спускал. «Подожди здесь», - сказал учитель по-арабски и направился было в комнату, но на пороге спохватился, вернулся к столу, взял револьвер и сунул его в карман. Затем, не оглядываясь, вышел из класса.

Он долго лежал у себя на диване, глядя, как меркнет небо, слушая тишину. Тишина более всего угнетала его в первые дни, когда он только вернулся с войны. Он просил места в городке у основания гряды, отделяющей высокие плато от пустыни. Скалистые стены, исчерна-зеле-ные на севере и лиловато-розовые с юга, высились тут границей вечного лета. Место ему дали севернее, на самом плато. Поначалу он тяжело переносил одиночество и тишину в этом неблагодарном краю, населенном разве что камнями. Кое-где, правда, встречались борозды, на первый взгляд напоминающие пашню, однако прорыты они были для того, чтобы извлечь на свет камень, пригодный для строительства. Здесь пахали только затем, чтобы собирать голыши. Иногда еще по крохам высекали землю, скопившуюся в углублениях, и подкармливали ею чахлые сады в деревнях. Камни и только камни на три четверти покрывали здешний край. Тут рождались города, расцветали, потом исчезали; люди селились тут, любили друг друга, вцеплялись друг дружке в глотку, потом умирали. В этой пустыне все - и он, и его сегодняшний постоялец - были ничем. Но Дарю прекрасно понимал, что вне ее ни тот, ни другой не смогли бы жить полнокровно. Когда он поднялся, из класса не доносилось ни звука. Дарю сам удивился той откровенной радости, какая охватила его при одной мысли, что араб мог сбежать, что он снова один и не требуется принимать никаких решений. Однако арестованный был тут. Только теперь он лежал, вытянувшись между печкой и столом. Лежал с открытыми глазами и смотрел в потолок. В таком положении особенно выделялись его пухлые губы, придававшие лицу обиженнное выражение. «Пойдем», - сказал Дарю. Тот встал и пошел за ним. В комнате учитель указал ему стул возле стола под окном. Араб сел, все так же не сводя глаз с Дарю.

- Есть хочешь? - спросил учитель.

- Да, - ответил тот.

Дарю приготовил два прибора. Взял муки и постного масла, замесил лепешку, зажег маленьку газовую плитку. Пока лепешка жарилась, он сходил в пристройку за сыром, яйцами, финиками и сгущенным молоком. Поджаренную лепешку он поставил охлаждаться на подоконник, развел водой и согрел молоко, взбил яйца для омлета. Взбивая, задел рукой револьвер, лежавший в правом кармане. Тогда он оставил миску, вышел в класс и убрал револьвер в ящик письменного стола. Когда он возвратился в комнату, уже стемнело. Он зажег свет, подал кушанье арабу. «Ешь»,

- сказал он. Тот взял кусок лепешки, живо поднес ко рту и застыл.

- А ты? - спросил он.

- Я тоже буду. После.

Толстые губы приоткрылись, араб поколебался, но затем решительно принял за лепешку. Поев, он уставился на учителя.

- Это ты судья?

- Нет, я стерегу тебя до завтра.

- Почему ты ешь со мной?

- Потому что есть хочу.

Араб замолчал. Дарю поднялся и вышел. Принес из сарай походную кровать, разложил ее между столом и печкой, перпендикулярно собственной. Из большущего чемодана, поставленного в углу на попа и служившего полкой для папок с бумагами, извлечь два одеяла, расстелил их на раскладной кровати. Затем остановился, не зная, за что еще взяться, и присел на постель. Больше делать было нечего. Оставалось только смотреть на араба - и он смотрел, тщетно стараясь представить себе его лицо искаженным от ярости. Он видел лишь глаза, сумрачные, но блестящие, и животные губы.

- За что ты его убил? - спросил Дарю и сам удивился неприязненности своего тона.

Тот потупился:

- Он побежал. Я за ним погнался.

Он поднял на Дарю вопрошающий взгляд, исполненный страдания.

- Что теперь со мной сделают?

- Боишься?

Араб насторожился, отвел глаза.

- Жалеешь?

Несчастный глядел на него, раскрыв рот. Видимо, не понимал, о чем его спрашивают. Дарю почувствовал, как в душе закипает раздражение. Одновременно он ощущал неловкость, принужденность во всем своем большом теле, не помещавшемся между койками.

- Ложись! - произнес он нетерпеливо. - Я тебе постелил.

Тот не шелохнулся. Потом окликнул Дарю:

- Скажи! Учитель обернулся.

- Жандарм завтра вернется?

- Не знаю.

- Ты пойдешь с нами?

- Не знаю. А что?

Арестованный встал, шагнул к постели и растянулся поверх одеял ногами к окну.

Свет электрической лампочки бил ему прямо в глаза, он зажмурился.

- А что? - переспросил Дарю, стоя над ним.

Араб открыл глаза на ослепительный свет и посмотрел на учителя, стараясь не мигать.

- Пойдем с нами, - сказал он.

Заполночь Дарю все еще не спал. Перед тем, как лечь, он полностью разделся: привык спать нагишом. Правда, оставшись без ничего, он засомневался:

почувствовал себя уязвимым, и у него возникло искушение одеться снова. Но он только пожал плечами: и не таких встречал, если понадобится, этого противника в баражий рог скрутит.

Со своей постели он видел, как тот неподвижно лежит на спине, зажмутив глаза от яркого света. Когда Дарю потушил свет, сумрак разом уплотнился. Понемногу ночь начала оживать за окном, где тихо дышало беззвездное небо. Учитель мог различить фигуру, лежавшую на соседней койке. Араб по-прежнему не шевелился, но глаза казались открытыми. Снаружи гулял ветерок. Возможно, он разгонит облака, и снова пожалует солнце.

Ночью ветер усилился. Куры забеспокоились, но вскоре утихли. Араб повернулся на бок, спиной к Дарю, и вроде как застонал. Дарю прислушался к его дыханию, оно стало громче и ровнее. Он слышал, как тот дышит совсем рядом, и не мог заснуть. Присутствие постороннего в комнате, где вот уже год он спал один, мешало ему.

Мешало еще и потому, что навязывало особого рода братство, хорошо ему знакомое и в данном случае совершенно для него неприемлемое: между мужчинами, спящими в

одной комнате, - солдатами, заключенными - устанавливается таинственная связь, словно скинув вместе с одеждой житейскую броню, они воссоединяются ночью, преодолев различия, в извечном царстве усталости и сна. Дарю гнал от себя эти мысли, подобных глупостей он не любил, надо было спать.

Чуть погодя, когда араб едва заметно шевельнулся, учитель по-прежнему не спал. Шевеление повторилось, и Дарю насторожился. Медленно, как лунатик, араб приподнялся на локтях. Сев на кровати, он замер, не поворачиваясь к Дарю, будто напряженно прислушивался. Дарю не шелохнулся, он только теперь вспомнил: револьвер остался в ящике стола. Действовать следовало немедля. Однако он продолжил наблюдение: арестованный все так же машинально опустил ноги на пол, выждал еще немного и стал медленно подниматься. Дарю хотел было его окликнуть, но араб встал и пошел, теперь уже естественной походкой, только необычайно тихой. Он направлялся к двери, ведущей в пристройку. Осторожно отомкнув щеколду, он вышел и притворил за собой дверь, но не до конца. Дарю не двинул с места. «Смыывается, - подумал он. - Скатертью дорога!» И все же прислушался. В курятнике - ни звука, стало быть, тот вышел на площадку. В эту минуту Дарю рассыпало тихое журчание - что это было, он понял только тогда, когда фигура араба вновь обозначилась в дверном проеме; вошедший аккуратно закрыл дверь, неслышно прошел к кровати и лег. Тогда Дарю повернулся к нему спиной и заснул. Позднее ему казалось, что он слышит сквозь сон, как кто-то крадучись ходит вокруг школы. «Пригрезилось», - говорил он себе и продолжал спать.

Проснувшись, он увидел ясное небо; в щели плохо пригнанных рам врывался холодный и чистый воздух. Араб спал теперь скрючившись под одеялом, раскрыв рот, полностью расслабившись. Но когда Дарю растолкал его, он страшно вздрогнул, вытаращился на Дарю, не узнавая его, безумными и до того перепуганными глазами, что учитель отступил на шаг. «Не бойся. Это я. Пора есть». Араб тряхнул головой, сказал «да». Лицо его обрело спокойствие, но выражение оставалось отсутствующим и рассеянным.

Кофе был готов. Они выпили его, сидя вдвоем на раскладной кровати, закусывая куском лепешки. Затем Дарю отвел араба в пристройку и показал кран, где обычно умывался. Сам вернулся в комнату, сложил одеяла и походную кровать, убрал свою постель, привел комнату в порядок. Через класс вышел на площадку. На голубом небе уже вставало солнце; нежный яркий свет заливал пустынное плоскогорье. На склоне местами таял снег. Скоро там вновь оголятся камни. Присев на корточки над откосом, учитель озирал безлюдное пространство. Вспомнил Бальдуччи: он огорчил старика, вроде как выпроводил его, словно не хотел быть с ним заодно. В ушах еще звучало его сухое «прощай», и Дарю, сам не зная почему, чувствовал себя опустошенным и разбитым. В эту минуту позади школы кашлянул его пленник. Дарю предпочел бы его не слышать, он поднял и яростно швырнул камень - тот, просвистев в воздухе, утонул в снегу. Нелепое преступление этого человека повергло учителя в бешенство, но выдавать его властям - противно чести: сама мысль об этом была унизительна до крайности. Он проклинал одновременно и своих за то, что они подкинули ему этого араба, и араба за то, что убить он осмелился, а убежать не сумел. Дарю поднялся, потоптался на площадке, выждал, зашел в школу.

В пристройке, склонившись над засементированным полом, его подопечный двумя пальцами чистил зубы. Дарю поглядел на него, потом сказал: «Пошли». Проследовал в комнату, араб за ним. Дарю натянул поверх свитера охотничью куртку, на ноги - походные ботинки. Стоя, подождал, пока тот накрутит тюрбан и завяжет сандалии. Они пересекли классную, и учитель указал спутнику на выход: «Иди». Тот не шелохнулся. «Я сейчас», - прибавил Дарю. Араб вышел. Дарю возвратился в комнату и собрал узелок с сухарями, финиками и сахаром. На обратном пути, возле письменного стола он заколебался, затем шагнул через порог и запер дверь. «Сюда», - буркнул он и двинулся на восток, арестованный - за ним. Когда они чуть отошли, Дарю почудились позади какие-то звуки. Он вернулся, обогнул дом: никого. Араб наблюдал за ним, как видно, не понимая, в чем дело. «Идем», - сказал Дарю. Через час они присели отдохнуть у основания какой-то известковой иглы. Повсюду таял и таял снег, солнце тотчас выпивало лужи, стремительно вычищало плоскогорье, и оно, становясь сухим, начинало вибрировать, как воздух. Когда они снова тронулись в путь, земля звенела у них под ногами. По временам далеко впереди пространство с радостным криком рассекала одинокая птица. Дарю жадно глотал новоявленный свет. Чувство, похожее на восторг, зарождалось в нем от созерцания этого огромного знакомого пространства, окрашенного теперь почти целиком в желтый цвет под голубым куполом неба. Затем они шли еще час, спускаясь к югу, пока не очутились на приплюснутом взгорке, сложенном из хрупких пород. Далее плоскогорье круто уходило вниз, на востоке открывалась равнина, где глаз различал чахлые деревца, а на юге - скопления скалистых глыб, которые придавали всему пейзажу беспокойный вид.

дарю поглядел пристально в одном направлении, в другом. На горизонте - только небо, нигде ни души. Учитель повернулся к арабу, недоуменно на него взиравшему, протянул ему сверток. «Возьми, - сказал он. - Здесь финики, хлеб, сахар. Можно продержаться два дня. Вот еще тысяча франков». Араб взял сверток и деньги и держал их перед собой, не зная, что с ними делать. «Теперь смотри, - сказал учитель и указал на восток. - Вот дорога на Тингит. Идти два часа. В Тингите администрация и полиция. Они тебя ждут». Араб глядел на восток, все так же прижимая к груди узелок и деньги. Дарю взял его за руку выше локтя и, не слишком церемонясь, оборотил лицом к югу. Внизу, у основания склона, виднелась едва различимая тропинка. «Эта тропа пересекает плоскогорье. За день доберешься до пастбищ и первых кочевников. Они примут тебя и приютят, как у них принято». Араб повернулся к Дарю, в глазах его зрела паника. «Послушай», - начал было он. Дарю замотал головой: «Нет. Молчи. Дальше пойдешь один». Он развернулся, сделал два шага по направлению к школе, еще раз в нерешительности взглянул на неподвижно стоящего араба и продолжил путь. Несколько минут он шел, не обрачиваясь, слыша лишь звуки собственных шагов: гулкий стук по мерзлой земле. Затем оглянулся. Араб стоял все там же, над склоном, только руки опустил и смотрел вслед учителю. Дарю почувствовал комок в горле. Он выругался, махнул рукой и пошел дальше. В следующий раз он остановился не скоро. Когда он обернулся, на пригорке уже никого не было.

Дарю заколебался. Солнце стояло высоко в небе и начинало припекать голову. Он повернулся назад, пошел сперва неуверенно, затем все быстрей и решительней. Когда он достиг пригорка, пот лил с него градом. Он взбежал по склону и на вершине остановился, с трудом переводя дыхание. Скопление скал на юге четко вырисовывалось на голубом небе, на востоке же равнина уже мрела от зноя. И там, в дымчатом мареве, Дарю с болью в сердце различил фигуру араба, плетущегося по направлению к тюрьме.

В тот же день учитель стоял у окна классной и глядел, не видя, на яркий свет, низвергающийся с небес на все пространство плоскогорья. За спиной у него висела грифельная доска, на которой среди меандров четырех рек Франции он обнаружил начертанную неумелой рукой надпись: «Ты выдал нашего брата. Ты за это заплатишь». Дарю глядел на небо, на плато и дальше, на невидимые ему земли, простиравшиеся до самого моря. В этом обширном краю, который он прежде так любил, он был один.

ИОНА, ИЛИ ХУДОЖНИК ЗА РАБОТОЙ

«Бросьте меня в море... ибо я знаю, что ради меня постигла вас эта великая буря».

Книга пророка Ионы, I, 12

Художник Жильбер Иона верил в свою счастливую звезду. Собственно, только в нее он и верил, хотя религия, которую исповедовали другие, внушала ему уважение и даже своего рода восхищение. Однако и его собственная вера была не лишена достоинств, поскольку она состояла в безотчетном допущении, что он получит многое, ничего не заслужив. Поэтому, когда с десяток критиков внезапно принялись оспаривать честь открытия его таланта - ему было в ту пору лет тридцать пять, - он не выказал ни малейшего удивления. Но это спокойствие духа, которое кое-кто приписывал его самодовольству, объяснялось, напротив, его скромностью и верой. Он воздавал должное скорее своей счастливой звезде, чем своим заслугам.

Он был несколько больше удивлен, когда один торговец картинами предложил ему ежемесячное содержание, которое избавит его от всяких материальных забот. Тщетно архитектор Рато, который со временем лицея любил Иону и его счастливую звезду, растолковывал другу, что это содержание едва позволит ему сводить концы с концами и что торговец на этом ничего не теряет. «И все же это кое-что», - говорил Иона. Рато, который во всем, что он предпринимал, добивался успеха собственными силами, журил друга: «Что значит кое-что? Надо поторговаться». Все было напрасно. Иона про себя благодарил свою счастливую звезду. «Как вам будет угодно», - сказал он торговцу. И отказался от должности, которую занимал в от-

© Перевод на русский язык, издательство «Радуга», 1988

цовском издательстве, чтобы всецело посвятить себя живописи. «Мне просто повезло!» - говорил он.

На самом деле он думал: «Мне по-прежнему везет». С тех пор как он себя помнил, везенье не покидало его. Он питал нежную признательность к своим родителям, во-первых, за то, что они мало занимались его воспитанием и это позволяло ему бездельничать, предаваясь мечтаниям, во-вторых, за то, что они развелись по причине адюльтера. По крайней мере, на этот предлог ссыпался его отец, забывая уточнить, что речь шла о довольно своеобразной супружеской измене: он не мог выносить благотворительности жены, настоящей святой, которая, не видя в этом ничего дурного, принесла себя в дар страждущему человечеству. Муж считал себя

Камю Альбер Изгнание и царство filosoff.org
вправе безраздельно владеть добродетелями своей жены. «Мне надоело, - говорил сей Отелло, - что она изменяет мне с бедняками».

Это взаимное непонимание оказалось выгодным для Ионы. Его мать и отец, где-то вычитав или услышав, что можно привести немало случаев, когда в результате разрыва между родителями из ребенка вырастал садист и убийца, наперебой баловали его, чтобы задушить в зародыше возможность столь пагубного развития. Чем менее заметны были последствия удара, которым, как они думали, был их развод для психики ребенка, тем больше они тревожились: незримые травмы особенно глубоки. Стоило Ионе показать, что он доволен собой или тем, как он провел день, обычное беспокойство его родителей переходило в безумное смятение. Они удваивали свое внимание к ребенку и предупреждали все его желания.

Наконец, своему предполагаемому горю Иона был обязан тем, что обрел преданного брата в лице своего друга Рато. Родители последнего часто приглашали его маленького товарища по лицу, так как сочувствовали несчастью мальчика. Их жалостливые речи внушали их сыну, здоровяку и спортсмену, желание взять под свое покровительство однокашника, чьи успехи, достигаемые отнюдь не ценой прилежания, уже тогда восхищали Рато. Смесь восхищения и снисходительности способствовала дружбе, которую Иона принял, как принимал и все остальное, с поощряющей простотой.

Когда Иона без особых усилий завершил образование, ему опять повезло: поступив на службу в отцовское издательство, он нашел там приличное положение, а косвенным образом и свое художническое призвание. Крупнейший издатель Франции, отец Ионы, придерживался мнения, что именно в силу кризиса культуры книге, более чем когда бы то ни было, принадлежит будущее. «История показывает, - говорил он, - что чем меньше люди читают, тем охотнее они покупают книги». Исходя из этого, он лишь изредка читал рукописи, которые ему предлагали, публиковал их, полагаясь только на имя автора и на актуальность темы (а поскольку единственная тема, всегда сохраняющая актуальность, - это секс, издатель в конце концов специализировался на ней), и заботился только об оригинальном оформлении и бесплатной рекламе. Таким образом, Иона получил вместе с отделом внутренних рецензий много свободного времени, которое нужно было на что-то употребить. Так он и пришел в живопись.

Впервые он открыл в себе нежданный, но неослабевающий пыл, вскоре стал проводить целые дни за мольбертом и - по-прежнему без усилий - сделал блестящие успехи в этом занятии. Казалось, ничто другое его не интересует, и он едва успел жениться в подобающем возрасте: живопись всецело поглощала его. Людям и событиям обыденной жизни он уделял лишь благожелательную улыбку, избавлявшую его от необходимости думать о них. Понадобилось происшествие с мотоциклом, который Рато слишком разогнал в то время, как его друг сидел на заднем седле, чтобы Иона, вынужденный наконец оторваться от работы, так как на правую руку был наложен гипс, от скучи заинтересовался любовью. Но и за этот несчастный случай он был склонен благодарить свою счастливую звезду. Ведь без него он не собрался бы посмотреть на Луизу Пулен, как она того заслуживала.

Впрочем, по мнению Рато, на Луизу и не стоило смотреть. Хотя сам он был невысокого роста, коренастый, ему нравились только крупные женщины. «Не понимаю, что ты находишь в этой козявке», - говорил он. Действительно маленькая, смуглая, черноглазая Луиза, однако, была хорошо сложена и мила. Иону, рослого и полного, умилляла эта козявка, тем более что она была хлопотлива, как муравей. Призванием Луизы была деятельность жизни. Это призвание как нельзя лучше отвечало склонности Ионы к инертности со всеми ее преимуществами. Сначала Луиза отдалась литературе. По крайней мере, пока она думала, что книгоиздательство интересует Иону, она читала все подряд и в несколько недель стала способна говорить обо всем. Это привело в восхищение Иону, и он счел себя окончательно избавленным от необходимости что-либо читать, поскольку Луиза его достаточно хорошо информировала и он мог от нее узнавать о самом существенном в современных открытиях. «Теперь уже не следует говорить, что такой-то зол или безобразен, - уверяла Луиза, - а надо говорить, что он хочет быть злым или безобразным». Это был важный оттенок, и, как заметил Рато, такое новшество грозило привести по меньшей мере к осуждению человеческого рода. Но Луиза объявила, что эту истину провозглашают одновременно бульварная пресса и философские журналы, а следовательно, она общепризнанна и бесспорна. «Как вам будет угодно», - сказал Иона и, тотчас забыв о жестоком открытии, погрузился в грэзы о своей счастливой звезде.

Луиза оставила литературу, едва поняла, что Иону интересует только живопись. Она тут же увлеклась изобразительными искусствами, стала бегать по музеям и выставкам и таскать с собой Иону, который плохо понимал произведения своих современников и стеснялся своей простоты. Однако он радовался, что так хорошо осведомлен обо всем, что касается искусства, которому он себя посвятил. Правда,

на следующий день он забывал даже имя художника, картины которого только что видел. Но Луиза была права, когда безапелляционным тоном напоминала ему то, что она усвоила как одну из несомненных истин еще в пору своего пристрастия к литературе, а именно, что в действительности мы никогда ничего не забываем. Счастливая звезда решительно покровительствовала Ионе, который мог таким образом, не кривя душой, совмещать достоинства твердой памяти с удобствами забвения.

Но особенно ярким блеском сверкали сокровища преданности, расточаемые Луизой, в повседневной жизни Ионы. Этот добный ангел избавлял его от покупок платья, ботинок и белья, которые вся кому нормальному человеку сокращают дни и без того столь краткой жизни. Она самоотверженно принимала на себя натиск машины, созданной, чтобы отнимать время с помощью тысячи вы-думок, начиная с непонятных бланков департамента социального страхования и кончая всеми предписаниями налогового ведомства. «Так-так, — говорил Рато. — Жаль, что она не может пойти вместо тебя к зубному врачу». К зубному врачу она не ходила, но звонила по телефону и условливалась о визитах в наиболее удобное для Ионы время; следила, чтобы его «4 CV» была заправлена бензином и маслом, заказывала номера в курортной гостинице, заботилась об угле для дома; сама покупала подарки, которые Иона желал преподнести, выбирала и посыпала за него цветы, а в иные вечера еще успевала забежать к нему домой в его отсутствие и постелить постель, чтобы ему оставалось только раздеться и лечь спать.

Проявив ту же энергию, она попала в эту постель, потом занялась формальностями, привела Иону к мэру за два года до того, как его талант был признан, и организовала свадебное путешествие таким образом, что они смогли посетить все музеи, не преминув предварительно найти в разгар жилищного кризиса трехкомнатную квартиру, в которой они и обосновались по возвращении. Затем она произвела мальчика и девочку, почти погодков, в соответствии с ее планом обзавестись тремя детьми, который и был выполнен вскоре после того, как Иона ушел из издательства, чтобы посвятить себя живописи.

Впрочем, как только у Луизы родился первый ребенок, ее всецело поглотили заботы о нем, а потом и о других детях. Она еще пыталась помогать мужу, но у нее не хватало времени. Без сомнения, она сожалела о том, что не уделяет внимания Ионе, но ее решительный характер мешал ей слишком долго предаваться этим сожалениям. «Тем хуже, — говорила она. — У каждого свой верстак». Иона находил это выражение очаровательным, ибо желал, как все художники того времени, чтобы его считали ремесленником. Итак, ремесленник лишился прежней опеки, и ему приходилось теперь самому покупать себе ботинки. Это было в порядке вещей, а кроме того, Ионе и тут хотелось видеть хорошую сторону. Конечно, ему стоило усилий ходить по магазинам, но эти усилия вознаграждались часами одиночества, которые придают такую цену счастью супружества.

Однако куда более острой, чем все остальные проблемы молодой четы, была проблема жизненного пространства, ибо пространство вокруг нее сокращалось вместе со временем. Появление детей, новая профессия Ионы, тесное помещение и скромное содержание, не позволявшее купить квартиру побольше, — все это вместе оставляло мало простора для деятельности Ионы и Луизы, каждого на своем поприще. Их квартира находилась на втором этаже бывшего особняка, здания XVIII века, в старом квартале столицы. В этом районе жило много художников, верных тому принципу, что новаторство в искусстве должно иметь своим фоном старину. Иона, разделявший это убеждение, был очень рад, что живет в таком квартале.

Во всяком случае, уж на его-то квартире лежал отпечаток старины. Но некоторые самоновейшие переделки придали ей оригинальность, которая состояла главным образом в том, что там был большой объем воздуха при очень небольшой площади. Комнаты, необыкновенно высокие, с великолепными окнами, без сомнения, предназначались, судя по их внушительным размерам, для парадных приемов и балов. Но скученность населения и доходность недвижимости принудили последующих домовладельцев разделить перегородками эти слишком просторные комнаты и таким образом увеличить число стойл, за которые они драли втридорога со своего стада квартирнанимателей. При этом они особенно упирали на «большую кубатуру воздуха». Это преимущество нельзя было отрицать. Его только следовало приписать невозможности разделить комнаты перегородками также и по горизонтали. Если бы это было осуществимо, домовладельцы без колебаний пошли бы на необходимые жертвы, чтобы предложить еще несколько пристанищ молодому поколению, в те времена особенно склонному к бракосочетанию и плодовитому. Впрочем, кубатура воздуха представляла не только преимущества. Недостаток ее состоял в том, что зимой комнаты было трудно натопить, что, к несчастью, заставляло домовладельцев повышать плату на отопление. Летом из-за огромных окон квартира была буквально залита ослепительным светом — жалюзи не было. Домовладельцы не позабыли их поставить, по-видимому обескураженные объемом и стоимостью столярных работ. В

конце концов ту же роль могли играть толстые шторы, стоимость которых не составляла проблемы, поскольку они приобретались самими квартиронанимателями. К тому же домовладельцы не отказывались помочь последним и предлагали им по неслыханным ценам шторы из своих собственных магазинов. Филантропия, связанная с недвижимостью, была для них тем же, чем скрипка для Энгра. В обыденной жизни эта новая знать занималась торговлей перкалем и бархатом.

Иона пришел в восторг от преимуществ квартир и легко смирился с ее недостатками. «Как вам будет угодно», - сказал он домовладельцу, когда тот назначил плату за отопление. Что касается штор, то он одобрял Луизу, которая находила достаточным повесить их в спальне, оставив остальные окна голыми. «Нам нечего скрывать», - говорила эта чистая душа. Иону особенно соблазняла самая большая комната, в которой был такой высокий потолок, что не могло быть и речи о том, чтобы создать в ней нормальное освещение. В эту комнату попадали прямо из прихожей, а узким коридором она сообщалась с двумя другими, гораздо меньшими и смежными. В глубине квартиры находилась кухня, а рядом с ней - уборная и каморка, громко именуемая душевой. Она в самом деле могла сойти за таковую при условии, если в ней установить душ и согласиться стоять под благотворными струями в абсолютной неподвижности.

Поистине необыкновенная высота потолков и теснота комнат делали эту квартиру каким-то странным собранием параллелепипедов, почти целиком застекленных - сплошные двери и окна, где мебель некуда было поставить, а люди, затопленные беспощадно ярким светом, казалось, плавали, как игрушечные фигурки в вертикальном аквариуме. Вдобавок все окна выходили во двор, то есть смотрели в другие окна того же стиля, за которыми вырисовывались новые окна, выходившие во второй двор. «Настоящий павильон зеркал», - в восхищении говорил Иона. По совету Рато было решено отвести под супружескую спальню одну из маленьких комнат, предназначив вторую для ребенка, которого уже ждали. Большая комната днем служила мастерской Ионы, а вечером и в часы завтрака и обеда - гостиной и столовой. Впрочем, завтракать и обедать, на худой конец, можно было и на кухне, согласись только Луиза или Иона есть стоя. Рато, со своей стороны, устраивал для них множество хитроумных приспособлений. С помощью раздвижных дверей, убирающихся полок и складных столиков ему удалось компенсировать недостаток мебели, придав вид шкатулки сюрпризов этому оригинальному жилищу.

Но когда комнаты наполнились картинами и детьми, настало время безотлагательно подумать о новой квартире. В самом деле, до рождения третьего ребенка Иона работал в большой комнате, Луиза вязала в спальне, а двое малышей занимали третью комнату, ходили там на голове и вдобавок бегали по всему дому. Когда появился новорожденный, его решили поместить в уголке мастерской, который Иона отгородил своими холстами, устроив из них нечто вроде ширмы, - это имело то преимущество, что можно было услышать, когда ребенок начинал плакать, и тут же к нему подойти. Впрочем, Ионе никогда не приходилось беспокоиться - Луиза предупреждала его. Еще до того, как ребенок просыпался, она входила в комнату, правда со всевозможными предосторожностями и всегда на цыпочках. Иона, растроганный этой деликатностью, однажды сказал Луизе, что он прекрасно может работать при шуме ее шагов. Луиза ответила, что заботится также и о том, чтобы не разбудить ребенка. Иона, полный восхищения материнским сердцем, которое таким образом раскрывалось перед ним, от души посмеялся над своей ошибкой. И не решился признаться, что осторожные маневры Луизы были стеснительнее бесцеремонного вторжения. Во-первых, потому, что длились дольше, а во-вторых, потому что пантомима, исполняемая Луизой, которая входила, широко расставив руки, слегка откинув назад корпус и высоко подняв ногу, не могла остаться незамеченной. Маневры эти даже противоречили намерениям, на которые она ссылалась, поскольку Луиза ежеминутно рисковала задеть одно из полотен, загромождавших мастерскую. Тогда ребенок просыпался от шума и выражал свое недовольство доступными ему средствами, кстати сказать, довольно мощными. Отец, в восторге от того, что у сына такие могучие легкие, подбегал потешить его. Вскоре Иону сменяла жена, и тогда он поднимал упавшие полотна, а потом с кистями в руке, зачарованный, слушал настойчивый и повелительный голос сына.

Как раз в эту пору благодаря успеху Ионы у него появилось много друзей. Эти друзья заявляли о себе по телефону или неожиданными визитами. Телефон, который по зрелом размышлении установили в мастерской, часто звонил, опять-таки в ущерб сну ребенка, присоединявшему свой плач к этим властным звонкам. Если случайно Луиза в это время ухаживала за другими детьми, она бежала в мастерскую вместе с ними, но по большей части опаздывала: Иона одной рукой держал ребенка, а другой кисти и телефонную трубку, выслушивая любезное приглашение позавтракать с кем-нибудь из новых друзей. Иону восхищало, что с ним, отнюдь не блестящим собеседником, хотят позавтракать, но он предпочитал выходить из дома вечером, чтобы не разбивать рабочий день. К несчастью, чаще всего друг был очень занят,

мог урвать часок только в первую половину дня и только завтра и хотел провести его непременно с дорогим Ионой. Дорогой Иона соглашался: «Как вам будет угодно», - вешал трубку, ронял: «Как это мило с его стороны», - и передавал ребенка Луизе. Потом он опять принимался за работу, которую скоро прерывал завтрак или обед. Приходилось отодвигать холсты, раскладывать усовершенствованный стол и усаживаться за него с детьми. Во время еды Иона поглядывал на неоконченную картину и, случалось, по крайней мере в первое время, находил, что дети немножко медленно жуют и глотают и это слишком затягивает семейную трапезу. Но он прочел в газете, что есть следует медленно, чтобы хорошо усваивать пищу, и с тех пор, садясь за стол, всякий раз находил основания радоваться.

Часто новые друзья Ионы навещали его. Рато приходил только по вечерам. Днем он был на службе, и потом, он знал, что художники работают при дневном свете. Но новые друзья Ионы почти все принадлежали к сословию художников и критиков. Одни когда-то занимались живописью, другие собирались заняться живописью, третьи писали о живописи прошлого и будущего. Все они, конечно, очень высоко ставили творческий труд и жаловались на организацию современного общества, мешающую этому труду и столь необходимой для художника сосредоточенности. Они часами предавались этим жалобам, умоляя Иону продолжать работать, не обращать на них внимания, не церемониться с ними, ибо они не буржуа и знают, как дорого художнику время. Иона, радуясь, что его друзья великодушно позволяют ему работать в их присутствии, возвращался к своей картине, не переставая отвечать на вопросы, которые ему задавали, и смеясь, когда ему рассказывали анекдоты. Иона держался так просто, что его друзья чувствовали себя все более непринужденно. Благодушествуя, они даже забывали о том, что хозяевам пора обедать. Но дети были не так забывчивы. Они прибегали, присоединялись к гостям, забирались на колени то к одному, то к другому, поднимали шум и крик. Наконец в квадрате неба над двором начинал меркнуть свет, и Иона откладывал кисти. Оставалось только пригласить друзей пообедать чем бог послал, а потом толковать до поздней ночи, разумеется, об искусстве, но в особенности о бездарных художниках, пластиках или халтурщиках, которых среди присутствующих, конечно, не было.

Иона любил вставать рано, чтобы воспользоваться утренним освещением. Он знал, что на следующий день ему будет трудно подняться, что утренний завтрак не будет готов вовремя и что он сам будет чувствовать себя усталым. Но с другой стороны, он был рад за один вечер узнать так много нового, это не могло не принести ему, как художнику, пользу, пусть неприметную для него самого. «В искусстве, как и в природе, ничто не пропадает, - говорил он. - И тут меня ведет счастливая звезда».

Иногда к друзьям присоединялись ученики: теперь у Ионы была своя школа. Сначала он был этим удивлен, не понимая, чему можно научиться у него, для которого все было открытием. Как художник, он сам продвигался на ощупь; как же мог он наставить кого-нибудь на истинный путь? Но довольно быстро он понял, что ученик - это вовсе не обязательно человек, который хочет чему-нибудь научиться.

Наоборот, гораздо чаще учениками становятся из бескорыстного желания поучать своего учителя. С той поры он мог смиренно принимать эту новую дань уважения. Ученики пространно объясняли Ионе, что он изобразил и почему. Иона таким образом обнаруживал в своем творчестве осуществление замыслов, которые слегка удивляли его, и бездну вещей, о которых он даже не подозревал. Он считал себя бедным, а благодаря своим ученикам вдруг оказывался богатым. Иногда перед лицом стольких богатств, доселе неведомых ему, он испытывал капельку гордости. «А ведь верно, - говорил он себе. - Вот это лицо на заднем плане приковывает взгляд. Я не совсем понимаю, что они имеют в виду, когда говорят о косвенной гуманизации. Однако с этим эффектом я в самом деле изрядно продвинулся вперед». Но очень скоро он избавлялся от обязывающего сознания своего мастерства, относя удачу за счет счастливой звезды. «Это звезда продвигается, - говорил он себе, - а я остаюсь с Луизой и детьми».

Впрочем, у учеников было и другое достоинство. Они побуждали Иону строже относиться к самому себе. Они говорили о нем и особенно о его добросовестности и работоспособности с таким восхищением, что после этого он уже не мог позволить себе ни малейшей слабости. Так, он расстался со старой привычкой, окончив трудное место, грызть кусочек сахара или шоколаду, прежде чем снова приняться за работу. В одиночестве он вопреки всему тайком уступил бы этой слабости. Но его моральному совершенствованию помогало почти постоянное присутствие учеников и друзей, при которых ему было как-то неловко грызть шоколад, прерывая к тому же интересную беседу ради такой блажи.

Кроме того, его ученики требовали, чтобы он оставался верен своим эстетическим принципам. Иона, который долго трудился, прежде чем его посещало мимолетное озарение, когда действительность представляла перед его взором в первозданном

свете, имел лишь смутное представление о своих эстетических принципах. Его ученики, напротив, прекрасно знали эти принципы и давали им многочисленные толкования, противоречивые и весьма категоричные, - на этот счет они не шутили. Порой Ионе хотелось призвать в советчики каприз, который всегда был покорным другом художников. Но его ученики, глядя на некоторые полотна, расходившиеся с их пониманием прекрасного, хмурили брови, и это заставляло Иону более вдумчиво относиться к искусству, которому он себя посвятил, что шло ему только на пользу. Наконец, ученики помогали Ионе и другим способом, заставляя его высказывать свое мнение об их собственных произведениях. В самом деле, не проходило дня, чтобы ему не приносили едва набросанный этюд, который автор ставил между Ионой и начатой им картиной в расчете на самое выгодное освещение. Нужно было что-то сказать. До тех пор Иона всегда втайне стыдился своей полной неспособности дать оценку произведению искусства. За исключением немногих картин, приводивших его в восторг, и грубой мазни, о которой не стоило и говорить, все в равной мере казалось ему интересным и ко всему он оставался равнодушен. Таким образом, он был вынужден составить себе арсенал разнообразных суждений, тем более что его ученики, как и все столичные художники, были, в общем, люди небесталанные, и, когда они собирались у него, ему нужно было проводить тонкие различия между их работами, чтобы угодить каждому. Эта отрадная обязанность заставила его выработать соответствующий лексикон и определенные взгляды на искусство. Однако его природная благожелательность не пострадала от усилий, которых это потребовало от него. Он быстро понял, что его ученики ждали от него не критики, которая была им ни к чему, а лишь поощрений и, если возможно, похвал. Нужно было только, чтобы эти похвалы различались между собой. Иона уже не довольствовался поэтому своей обычной любезностью. Он стал изобретательно любезен.

Так текло время у Ионы, который писал теперь среди друзей и учеников, располагавшихся на стульях, расставленных в несколько рядов вокруг его мольберта. А часто к его зрителям присоединялись соседи, выглядывающие из окон дома напротив. Он обменивался мнениями и спорил с друзьями, разбирал картины, которые представляли на его суд, улыбался Луизе, когда она заходила в комнату, утешал детей, с жаром отвечал на бесконечные телефонные звонки и, ни на минуту не выпуская из рук кистей, время от времени делал мазок на начатой картине. С одной стороны, жизнь его была полна, каждый час занят, и он благодарили судьбу, избавлявшую его от скуки. С другой стороны, чтобы написать картину, надо сделать много мазков, и порой он думал, что скука имеет свое преимущество, поскольку от нее можно спастись упорной работой. Иона между тем работал все меньше, по мере того как его друзья становились все более интересные люди. Даже в те редкие часы, когда он оставался совсем один, он чувствовал себя слишком усталым, чтобы наверстывать упущенное, и в эти часы он мог лишь мечтать о новом укладе жизни, который примирил бы радости дружбы с достоинствами скуки.

Он открыл сердце Луизе, а та со своей стороны поделилась с ним своим беспокойством: старшие дети подрастают и комната становится тесной для них. Она предло-

жила поместить их в большой комнате, отгородив их кровати ширмой, а малыша переселить в маленькую комнату, где его не станет будить телефон. Поскольку малыш почти не занимал места, Иона мог сделать эту комнату своей мастерской. Тогда в большой можно было бы днем принимать гостей. Иона выходил бы поговорить с друзьями и снова уходил бы к себе работать - гости, без сомнения, не осуждали бы его, понимая, что он нуждается в одиночестве. Кроме того, они раньше расходились бы, зная, что детей пора укладывать спать. «Великолепно», - сказал, поразмыслив, Иона. «И потом, - добавила Луиза, - если твои друзья не будут так засиживаться, мы сможем немножко больше видеться». Иона посмотрел на нее. На лице Луизы промелькнула тень грусти. Взволнованный, он привлек жену к себе и поцеловал ее, вложив в этот поцелуй всю свою нежность. Она приникла к нему, и на мгновение они снова почувствовали себя счастливыми, как в начале супружеской жизни. Но вот она встрепенулась: маленькая комната была, быть может, слишком тесна для Ионы. Луиза вооружилась складным метром, и они обнаружили, что из-за нагромождения полотен Ионы и гораздо более многочисленных полотен его учеников он работал обычно на пространстве немногим большем, чем то, которое отныне будет ему отведено. Иона немедля приступил к переселению.

По счастью, чем меньше он работал, тем больше росла его известность. Каждую его выставку с нетерпением ждали и заранее прославляли. Правда, несколько критиков, в том числе двое из обычных посетителей его мастерской, умеряли некоторыми оговорками восторженность своих отчетов. Но эту маленькую неприятность с лихвой компенсировало негодование учеников. Конечно, твердо заявляли последние, выше всего они ставят картины первого периода, но нынешние поиски подготавливают настоящую революцию. Иона упрекал себя за легкую досаду, которую он испытывал всякий раз, когда восхваляли его первые произведения, и горячо благодарил. Рато

Камю Альбер Изгнание и царство filosoff.org

ворчал: «Странные типы... Они хотели бы, чтобы ты оставался неподвижным, как статуя. По их понятиям, запрещается жить!» Но Иона защищал своих учеников. «Ты этого не можешь понять, - говорил он Рато, - тебе нравится все, что я делаю». Рато смеялся: «Черт возьми, мне нравится твоя кисть, а не твои картины». Но как бы то ни было, у публики картины по-прежнему пользовались успехом, и после одной выставки, встретившей теплый прием, торговец, с которым имел дело Иона, сам предложил увеличить месячное содержание. Иона согласился, рассыпавшись в изъявлениях благодарности. «Послушать вас, - сказал торговец, - можно подумать, что вы придаете значение деньгам». Такое простодушие покорило сердце художника. Однако, когда он попросил у торговца разрешения отдать одно полотно на благотворительный аукцион, тот забеспокоился и осведомился, не идет ли речь о «доходной» благотворительности. Иона этого не знал. Тогда торговец предложил добросовестно придерживаться условий договора, который предоставлял ему исключительное право продажи картин Ионы. «Контракт есть контракт», - сказал он. А в их контракте благотворительность не была предусмотрена. «Как вам будет угодно», - сказал художник.

Перемены в домашнем обиходе принесли благие результаты. Так, Иона смог довольно часто уединяться, чтобы отвечать на множество писем, которые он теперь получал и которые его вежливость не позволяла оставлять без ответа. Одни из них касались вопросов искусства, другие, гораздо более многочисленные, - личных дел отправителя: то начинаящий художник искал поддержки и ободрения, то у Ионы просили совета или денежной помощи.

По мере того, как его имя появлялось в газетах, к нему обращались также с настоятельными просьбами выступить против той или иной возмутительной несправедливости. Иона отвечал, писал об искусстве, благодарил, давал советы, отказывал себе в новом галстуке, чтобы послать маленькое вспомоществование, наконец, подписывал справедливые протесты, к которым ему предлагали присоединиться. «Оказывается, ты теперь занимаешься политикой? Предоставь это писателям и некрасивым девицам», - говорил Рато. Нет, он подписывал только те протесты, в которых говорилось, что они не продиктованы какой-либо политической пристрастностью. Однако все они претендовали на эту прекрасную независимость. Карманы Ионы вечно были набиты непрочитанными письмами, а едва он их вскрывал, приносили новые. Он отвечал на самые спешные, которые, как правило, приходили от незнакомых людей, и откладывал те, которые требовали обстоятельного ответа, то есть письма друзей. Такое множество обязанностей, во всяком случае, было несовместимо с бездельем и беззаботностью. Он вечно опаздывал и вечно чувствовал себя виноватым, даже когда работал, что с ним все же случалось время от времени. Луизу все больше и больше поглощали заботы о детях, и она сбивалась с ног, делая по дому все то, что при других обстоятельствах мог бы сделать он сам. Иона страдал от этого. В конце концов, он работал для своего удовольствия, ей же выпала худшая доля. Он отдавал себе в этом отчет, когда она уходила по делам. «К телефону!» - кричал старший мальчик, и Иона бросал картину, чтобы со вздохом облегчения вернуться к ней, получив очередное приглашение. «Газ!» - кричал посыльный, которому открывал дверь кто-нибудь из детей. «Сейчас, сейчас!» Когда Иона вешал трубку или отходил от дверей, друг или ученик, а то и оба вместе шли за ним до маленькой комнаты, чтобы окончить начатый разговор. Мало-помалу все привыкли проводить время в коридоре - толклись там, болтали между собой, призывали Иону в свидетели или забегали на минутку в маленькую комнату. «Здесь по крайней мере, - восклицали те, кто входил, - вас можно повидать без помехи». «Да, - отвечал тронутый Иона, - в последнее время мы совсем не видимся». Он чувствовал, что обманывает ожидания тех, с кем не видится, и огорчался. Ведь нередко это были друзья, с которыми он хотел бы встречаться. Но у него не хватало времени, он не мог принимать все приглашения. От этого страдала его репутация. «Он возгордился с тех пор, как добился успеха, - говорили знакомые. - Он уже ни с кем не видится». Или: «Он любит только самого себя». Нет, он любил живопись, любил Луизу, детей, Рато, еще нескольких близких людей и симпатизировал всем. Но жизнь коротка, время текло быстро, а его энергия имела свои пределы. Было трудно изображать мир и людей и в то же время жить с ними. С другой стороны, он не мог даже пожаловаться на свои затруднения, потому что, стоило ему заикнуться о них, его хлопали по плечу и говорили: «Счастливчик! Это расплата за славу!»

Итак, почта накапливалась, ученики не давали Ионе передышки, и к нему стекались теперь светские люди, которых он, впрочем, уважал за то, что они в отличие от других интересовались живописью, а не королевской семьей Англии или харчевнями для миллионеров; правда, это были по преимуществу дамы, державшиеся очень просто. Сами они картин не покупали, а только приводили к художнику своих друзей в надежде, часто напрасной, что те купят что-нибудь вместо них. Зато они помогали Луизе, главным образом приготавливая чай для посетителей. Чашки

переходили из рук в руки по коридору, из кухни в большую комнату и назад, а потом попадали в маленькую мастерскую, где Иона посреди горстки друзей и посетителей, вмешавшихся в комнату, продолжал писать, пока ему не приходилось откладывать кисти, чтобы с благодарностью взять чашку чаю, которую очаровательная особа налила специально для него.

Он пил чай, смотрел на этюд, который ученик только что поставил на его мольберт, смеялся вместе с друзьями, просил кого-нибудь из них отправить пачку писем, написанных ночью, поднимал упавшего малыша, который вертелся у него под ногами, позировал фотографу, а потом раздавалось: «Иона, к телефону!» - и он, рискуя уронить свою чашку, с извинениями пробирался через толпу, заполнявшую коридор, возвращался, делал несколько мазков, останавливался, чтобы ответить очаровательной особе, что, конечно, он напишет ее портрет, и опять поворачивался к мольберту. Он принимался работать, но минуту спустя слышалось: «Иона, подпись!» - «В чем дело? - спрашивал он. - Заказное письмо?» - «Нет, это насчет каторжников Кашмира». - «А, сейчас, сейчас». Он бежал к двери принять молодого альтруиста с его протестом, не без тревоги осведомлялся, не идет ли речь о политике, ставил свою подпись, выслушав заверение, что на этот счет он может быть совершенно спокоен, а заодно и суровое напоминание об обязанностях, возлагаемых на него привилегиями, которыми он пользуется как художник, и снова появлялся в своей мастерской, где ему представляли недавно ставшего чемпионом боксера, чье имя он не мог разобрать, и крупнейшего драматурга одной зарубежной страны. Драматург в течение пяти минут проникновенными взглядами выражал ему свои чувства, будучи не в состоянии объясниться понятнее за незнанием французского языка, а Иона с искренней симпатией кивал ему головой. Из этого безвыходного положения их выводило вторжение новомодного проповедника, который хотел представиться великому художнику. Очарованный, Иона говорил, что он очарован, щупал в кармане пачку писем, брался за кисти и готовился снова приняться за работу, но сначала должен был поблагодарить за пару сеттеров, которых в эту минуту приводили ему в подарок. Иона отводил их в спальню, возвращался, принимал приглашение дарительницы на завтрак, опять выходил, услышав крики Луизы, воочию убеждался в том, что сеттеры не привыкли жить в квартире, и уводил их в душевую, где они выли с таким упорством, что ни на минуту не давали забыть о себе. Изредка Иона поверх голов ловил взгляд Луизы. И, как ему казалось, это был грустный взгляд. Наконец наступал вечер, посетители прощались и уходили, а иные задерживались в большой комнате и с умилением смотрели, как Луиза укладывает детей и ей любезно помогает элегантная дама в шляпе, сожалея, что ей придется сейчас вернуться в свой двухэтажный особняк, где нет и в помине такой теплой, интимной обстановки, как здесь. Однажды в субботу после полудня Рато принес Луизе хитроумную сушилку для белья, которую можно было подвешивать к потолку на кухне. Квартира была битком набита людьми; в маленькой комнате окруженный знатоками Иона писал портрет дамы, подарившей ему собак, а тем временем другой художник писал портрет с него самого. По словам Луизы, он выполнял государственный заказ. «Это будет «Художник за работой». Рато притулился в углу комнаты, чтобы посмотреть на друга, видимо поглощенного своим делом. Один из знатоков, первый раз в жизни видевший Рато, наклонился к нему и сказал: «Ну и вид у него!» Рато ничего не ответил. «Вы художник, - продолжал тот. - Я тоже. Так вот, поверьте мне, он выдыхается». «Уже?» - сказал Рато. «да. Его губит успех. Этого испытания никто не выдерживает. На нем можно поставить крест». - «Он выдыхается или на нем можно поставить крест?» - «Раз художник выдыхается, значит, на нем можно поставить крест. Видите, ему уже нечего писать. Теперь пишут его самого, а потом повесят на стенку».

Спустя несколько часов, уже за полночь, в спальне молча сидели Луиза, Рато и Иона, вернее, сидели на кровати Луиза и Рато, а Иона стоял. Дети спали, собак отвезли в деревню, где их держали за небольшую плату, Луиза только что перемыла, а Иона и Рато вытерли гору посуды, все порядком устали. Когда Рато, глядя на груду тарелок, сказал: «Возьмите прислугу», Луиза меланхолично ответила: «А куда мы ее поместим?» Итак, они молчали. «Ты доволен жизнью?» - вдруг спросил Рато. Иона улыбнулся, но вид у него был невеселый. «да. Ко мне все хорошо относятся». «Нет, - сказал Рато. - Не обманывайся. Не все эти люди добры». «О ком ты говоришь?» - «Хотя бы о твоих друзьях живописцах». - «Я знаю, что ты имеешь в виду. Но это бывает со многими художниками, даже самыми большими. Они не уверены в том, что существуют как художники. И вот они стараются себе это доказать - критикуют, осуждают. Это придает им сил, это означает для них начало существования. Они так одиноки!» Рато покачал головой. «Поверь мне, - сказал Иона, - я их знаю. Их нужно любить». - «Ну а ты, - сказал Рато, - ты существуешь? Ведь ты никогда ни о ком не говоришь плохо». Иона рассмеялся. «О, я часто думаю плохо о людях. Только я незлопамятен. - И добавил серьезно: - Нет, я

Камю Альбер Изгнание и царство filosoff.org

не поручусь, что существую. Но я уверен, что буду существовать».

Рато спросил у Луизы, что она об этом думает. Выйдя из усталого оцепенения, она сказала, что Иона прав: мнение их посетителей не имеет значения. Важна только работа Ионы. И она чувствовала, что его стесняет ребенок. К тому же он подрастал, надо было купить для него кушетку, а она займет место. Как быть, пока они не нашли квартиры побольше? Иона оглядывал спальню. Конечно, это было не идеальное решение проблемы – кровать была слишком широка. Но комната весь день оставалась пустой. Он высказал свою мысль Луизе. Она задумалась. В спальне Иону по крайней мере не будут беспокоить: не станут же посторонние ложиться на их кровать. «Что вы об этом думаете?» – в свою очередь спросила Луиза у Рато. Тот посмотрел на Иону. Иона созерцал окна дома напротив. Потом он поднял глаза на беззвездное небо и подошел к окну задернуть шторы. Обернувшись, он улыбнулся Рато и молча сел на кровать возле него. Луиза, видимо совершенно разбитая, объявила, что идет принять душ. Когда друзья остались наедине, Иона почувствовал, как Рато пододвинулся к нему, коснувшись плечом его плеча. Он не посмотрел на него, но сказал: «Я люблю писать картины. Я хотел бы писать днем и ночью, всю жизнь. Разве это не счастье?» С нежностью глядя на него, Рато сказал: «Да, это счастье».

Дети росли, и Иона был рад видеть их веселыми и здоровыми. Они ходили в школу и возвращались в четыре часа. Иона мог любоваться на них вечерами и, кроме того, по субботам во вторую половину дня, по четвергам и во время частых и долгих каникул. Они были еще слишком маленькие, чтобы тихо и мирно играть, и слишком живые, чтобы не оглашать квартиру шумными ссорами и смехом. Приходилось их успокаивать, бранить, грозя наказанием, а то и шлепать для виду. Нужно было и стирать белье, и пришивать оторвавшиеся пуговицы; Луизы на все это не хватало. Поскольку они не могли нанять даже приходящую прислугу – при той тесноте, в которой они жили, всякий посторонний человек был бы им в тягость, – Иона предложил позвать на помощь сестру Луизы Розу, вдову, у которой была взрослая дочь. «Да, – сказала Луиза, – с Розой не придется стесняться. Ее всегда можно будет выставить». Иона обрадовался этому решению проблемы, которое облегчало положение Луизы и в то же время его совесть, отягощенную тем, что жена одна несла бремя житейских забот. Это было существенное облегчение, тем более что Роза часто приводила с собой свою дочь. Обе они были женщины добрейшей души, преданные и бескорыстные. Они делали все возможное и невозможное, чтобы помочь супругам, и не жалели своего времени. Этому способствовала скука их одинокой жизни и приятная атмосфера простоты и непринужденности, которую они находили у Луизы. В самом деле, как она и рассчитывала, никто не церемонился с родственницами, и они с первого дня почувствовали себя как дома. Большая комната стала общей и служила теперь одновременно столовой, бельевой и детской. В маленькой комнате, где спал младший ребенок, складывали холсты и ставили раскладушку, на которой спала Роза, когда приходила без дочери и оставалась ночевать.

Иона занимал спальню и работал между кроватью и окном. Ему только приходилось по утрам ждать, пока вслед за детской уберут эту комнату. Потом его уже никто не беспокоил, разве только заходили взять что-нибудь из белья: единственный в доме шкаф находился в спальне. Посетители, правда не столь многочисленные, как прежде, свыклись с новой обстановкой и вопреки надежде Луизы позволяли себе приступить к спаржеской постели, чтобы удобнее было болтать с Ионой. Прибегали и дети поцеловать отца. «Покажи картинку». Иона показывал им картину, которую писал, и нежно целовал их. Выпроваживая детей, он чувствовал, что они полностью, безраздельно занимают его сердце. Лишь он их, у него не осталось бы ничего – только пустота и одиночество. Он любил их так же, как живопись, потому что они одни во всем мире были так же полны жизни, как она.

Однако Иона работал меньше, сам не зная почему. Он по-прежнему не искал развлечений, но писать ему теперь было трудно даже в часы одиночества. Он проводил эти часы, глядя на небо. Он всегда был рассеян и погружен в себя, теперь он стал мечтательным. Вместо того, чтобы писать, он думал о живописи, о своем призвании. Он, как прежде, говорил себе: «Я люблю писать», но рука его, державшая кисть, бессильно висела, и он прислушивался к доносившимся издалека звукам радио.

В то же время его успех шел на спад. Ему приносили весьма сдержанные или ругательные статьи о его работах, иной раз такие злые, что у него сжималось сердце. Но он говорил себе, что можно извлечь пользу и из этих нападок – они побудят его лучше работать. Те, кто продолжал приходить к нему, держались с ним теперь фамильярнее, как со старым другом, с которым нечего церемониться. Когда он собирался вернуться к работе, они говорили ему: «Брось, успеется!» Иона чувствовал, что эти неудачники в известной мере уже видят в нем товарища по несчастью. Но с другой стороны, в этих новых отношениях было что-то отрадное.

Камю Альбер Изгнание и царство filosoff.org

Рато пожимал плечами: «Ты просто глуп. Они тебя вовсе не любят». «Теперь они меня немножко любят, - отвечал Иона. - А немного любви - это очень много. Не все ли равно, чему я обязан ею!» И он продолжал разговаривать, отвечать на письма и, кое-как писать. Изредка он писал по-настоящему, главным образом по воскресеньям, когда дети уходили гулять с Луизой и Розой. Вечером он радовался, видя, что картина, над которой он работал, немного продвинулась. В то время он писал небо. Когда торговец дал ему знать, что спрос на его картины заметно упал и что поэтому он, к сожалению, вынужден снизить месячное содержание, Иона согласился на это, но Луиза высказала беспокойство. Подходил сентябрь, надо было одеть детей к новому учебному году. Она со своим обычным мужеством сама взялась за работу, но скоро увидела, что не справляется. Роза могла починить белье и пришить пуговицы, но шить не умела. Зато двоюродная сестра ее мужа была портниха, и она пришла на помощь Луизе. Время от времени она усаживалась на стул в углу спальни, где, впрочем, эта молчаливая особа сидела тихо и спокойно. До того спокойно, что Луиза посоветовала Ионе написать с нее «Работницу». «Хорошая мысль», - сказал Иона. Он попробовал, испортил два холста и вернулся к начатому небу. На следующий день он, вместо того чтобы писать, долго прохаживался по квартире и размышлял. Пришел разгоряченный ученик показать ему длинную статью, которую он иначе не прочел бы. Из нее он узнал, что его живопись одновременно претенциозна и старомодна. Позвонил торговец, чтобы снова выразить ему беспокойство, которое вызывает у него кривая спроса. Однако Иона продолжал мечтать и размышлять. Ученику он сказал, что в статье есть доля истины, но что у него впереди еще много лет для работы. Торговцу он ответил, что понимает его, но не разделяет его беспокойства. У него большие замыслы, он готовится создать нечто действительно новое; все поправится. При этом он почувствовал, что говорит правду и что счастливая звезда будет сопутствовать ему. Надо только разумно организовать повседневную жизнь.

Назавтра он попытался работать в коридоре, послезавтра - в душевой, при электрическом свете, на следующий день - в кухне. Но впервые его стесняли люди, которых он повсюду встречал, - и те, кого он едва знал, и его близкие. На некоторое время он перестал работать и погрузился в размышления. Если бы было подходящее время года, он стал бы писать на натуре. Но, к несчастью, приближалась зима, и до весны трудно было взяться за пейзажи. Он все же попробовал, но скоро сдался: холод пробирал его до костей. Он провел несколько дней наедине со своими холстами - то сидел возле них, то стоял у окна; он больше не писал. Потом он стал с утра уходить из дома. Он рассчитывал набросать какую-нибудь деталь, дерево, покосившийся дом, профиль прохожего. К исходу дня оказывалось, что он ничего не сделал. Его обезоруживал малейший соблазн - газеты, случайная встреча, витрины, кафе, где можно посидеть в тепле. Каждый вечер он выискивал отговорки, задабривая свою нечистую совесть, непрестанно мучившую его. О, он будет писать, непременно будет, и лучше, чем прежде, после этого периода кажущейся опустошенности. В нем совершается внутренняя работа, вот и все, а потом его счастливая звезда, словно омытая, в новом блеске покажется из окутавшего ее густого тумана. А между тем он не выходил из кафе. Он обнаружил, что алкоголь вызывает у него такой же душевный подъем, какой он испытывал в те времена, когда увлеченно работал по целым дням и думал о своей картине с горячей нежностью, сравнимой только с его любовью к детям. После второй рюмки коньяку его охватывало это сладостное возбуждение, и он чувствовал себя одновременно властелином мира и его слугой. Правда, он наслаждался этим чувством сложа руки, и оно оставалось бесплодным, не претворяясь в произведение искусства. Но оно всего более приближалось к творческой радости, составлявшей смысл его жизни, и он проводил теперь долгие часы в этих шумных и продымленных заведениях. Однако он избегал мест, где бывали художники. Когда он встречал знакомого, который заговаривал с ним о его живописи, его охватывала паника. Ему хотелось удрачить, его собеседник замечал это, и тогда он удирал. Он знал, что у него за спиной говорят: «Он принимает себя за Рембрандта», это усиливало у него ощущение неловкости. Во всяком случае, он больше не улыбался, а его прежние друзья делали отсюда странный, но неизбежный вывод: «Раз он не улыбается, значит, он очень доволен собой». Зная это, он все больше сторонился людей своего круга. Стоило ему, входя в кафе, почувствовать, что кто-нибудь из присутствующих узнал его, у него падало сердце. Беспомощный и полный непонятной печали, он на секунду застывал, затаив свое смятение и внезапную жажду дружеского участия, вспоминал Рато с его добрым взглядом и, круто повернувшись, выходил. «Ну и физиономия!» - услышал он как-то у себя за спиной.

Он бывал теперь только в удаленных от центра кварталах, где его никто не знал. Тут он мог говорить, улыбаться, к нему возвращалась его доброжелательность, никто его ни о чем не спрашивал. Он завел себе нетребовательных приятелей. В особенности он любил поболтать с одним из них, гарсоном в вокзальном буфете,

куда он частенько заходил. Однажды тот спросил у него: «А чем вы занимаетесь?» «Малюю», - ответил Иона. «Малярничаете или картины пишете?» - «Картины». «О, это трудное дело», - сказал гарсон. И больше они не затрагивали этой темы. Да, писать трудно, говорил себе Иона, но он с этим справится, надо только придумать, как организовать свою работу.

Мало- помалу за стаканчиком вина он приобрел новых знакомых. Ему на помощь пришли женщины. Он мог поговорить с ними до или после постели, а главное, слегка похвастаться -они его понимали, даже если не слишком ему верили. Иногда ему казалось, что к нему возвращается его прежняя творческая сила. Однажды, ободренный одной из своих приятельниц, он решился взяться за дело. Он вернулся домой и, пользуясь отсутствием портних, попытался снова работать в спальне. Но спустя час он отложил холст, улыбнулся Луизе, глядя на нее невидящим взглядом, и вышел. Он целый день пил и провел ночь у своей приятельницы, где, впрочем, сразу заснул. Утром его встретила воплощенная скорбь в облике Луизы. Она хотела знать, спал ли он с этой женщиной. Иона сказал, что нет, потому что был пьян, но что до того он спал с другими. И впервые он с болью в сердце увидел у нее то выражение лица, какое бывает у людей от внезапных и чрезмерных страданий, - это было лицо утопающей. Тогда он отдал себе отчет в том, что все это время не думал о ней, и ему стало стыдно. Он попросил у нее прощения, сказал, что с этим покончено, что с завтрашнего дня все будет по-старому. Луиза была не в силах говорить и отвернулась, чтобы скрыть слезы.

На следующий день Иона рано утром вышел из дома. Шел дождь. Вернулся он, вымокнув до нитки, нагруженный досками. Он застал двух старых друзей, которые пришли проведать его. Они пили кофе в большой комнате. «Иона меняет технику. Он собирается писать на дереве». Иона улыбнулся. «дело не в этом. Но я начинаю кое-что новое». Иона прошел в маленький коридор, примыкавший к душевой, уборной и кухне, и там, где он образовывал прямой угол с коридором, ведущим в прихожую, остановился и долго смотрел на высокие стены, поднимавшиеся к темному потолку. Ему понадобилась стремянка, и он спустился за ней к консьержу.

Вернувшись, он застал у себя еще несколько человек, и ему пришлось отбиваться от обступивших его гостей, которые были в восторге, что снова видят его, и от домашних, пристававших к нему с вопросами. Наконец он добрался до конца коридора. В эту минуту его жена выходила из кухни. Иона поставил стремянку и крепко прижал Луизу к груди. Она умоляюще посмотрела на него. «Прошу тебя, - сказала она, - не начинай сначала». «Нет-нет, ответил Иона. - Я буду писать. Я должен писать». Ноказалось, он говорит сам с собой, взгляд у него был отсутствующий. Он принялся за работу. На середине высоты стен он начал сооружать помост, чтобы получилось нечто вроде узкой, но глубокой и высокой антресоли. К концу дня все было готово. Встав на стремянку, Иона уцепился за край помоста и, чтобы испытать его прочность, повис на нем и несколько раз подтянулся. Потом он присоединился к гостям и домашним, и все были рады, что он стал опять таким приветливым. Вечером, когда в доме было сравнительно мало народа, Иона взял керосиновую лампу, стул, табуретку и подрамник и все это поднял на антресоль, сопровождаемый любопытными взглядами трех женщин и детей. «Вот так, - сказал он, взбравшись на свой настен. - Тут я буду работать, никому не мешая». Луиза спросила, уверен ли он, что сможет там писать. «Конечно, - ответил он, - для этого много места не надо. Мне будет здесь свободнее. Некоторые великие художники писали при свечах, и потом... Доски не прогибаются?» Нет, они не прогибались. «Будь спокойна, - сказал Иона, - это прекрасное решение проблемы». И он спустился вниз.

На следующий день, с самого утра, он влез на антресоль, сел, поставил подрамник на табуретку, прислонив его к стене, и стал ждать, не зажигая лампы. Он отчетливо слышал только шумы, доносившиеся из кухни и уборной. Все остальное - телефонные звонки и звонки в дверь, шаги, разговоры - звучали приглушенно, словно долета-

ли с улицы или с соседнего двора. И в то время, как вся квартира была затоплена беспощадно ярким светом, здесь царил отдохновенный сумрак. Время от времени приходил кто-нибудь из друзей и обращался к Ионе из-под антресоли: «Что ты там делаешь, Иона?» - «Работаю». - «Без света?» - «Пока - да». Он не писал, но размышлял. В сумраке и относительной тишине, которая по сравнению с тем, что было прежде, казалась ему могильной, он прислушивался к собственному сердцу. Звуки, доносившиеся до антресоли, как бы уже не касались его, даже если это были слова, обращенные к нему. Так одинокие люди умирают в своей постели, среди сна, а утром в доме, где нет ни одной живой души, лихорадочно и настойчиво звонит телефон, вызывая к навеки глухому телу. Но Иона жил, он прислушивался к тишине в себе самом, он ждал свою счастливую звезду, которая еще скрывалась, но готовилась снова подняться и засиять, как прежде, озарив его жизнь, полную пустой суety. «Засияй, засияй, - говорил он. - Не лишай меня своего света». Она

засияет, он был в этом уверен. Но он должен был подумать еще, пользуясь тем, что ему наконец дано оставаться в одиночестве, не разлучаясь со своими близкими. Ему нужно было осознать то, что до сих пор он еще ясно не понял, хотя всегда чувствовал и всегда писал, как будто знал. Он должен был наконец овладеть этой тайной, которая, как он угадывал, была не только тайной искусства. Потому-то он и не зажигал лампы.

Теперь каждый день Иона поднимался на антресоль. Знакомые стали приходить реже, чувствуя, что озабоченной Луизе не до разговоров. Иона спускался, когда его звали к столу, и опять взбирался на насест. Целый день он неподвижно сидел в темноте. Только ночью он присоединялся к жене, уже улегшейся спать. Спустя несколько дней он попросил Луизу принести ему завтрак, что она и сделала с заботливостью, тронувшей Иону. Чтобы не беспокоить ее в других случаях, он подал ей мысль заготовить кое-какую провизию, которую он будет держать у себя на антресоли. Мало-помалу он перестал спускаться в течение дня, но при этом едва прикасался к своим припасам.

Однажды вечером он позвал Луизу и попросил у нее одеяла. «Я проведу ночь здесь». Луиза посмотрела на него, откинув назад голову. Она было раскрыла рот, но сдержалась и ничего не сказала. Она только пристально глядела на него с тревожным и печальным выражением лица, и он вдруг увидел, как она постарела, и понял, что их нелегкая жизнь наложила и на нее глубокий отпечаток. Тогда он подумал о том, что никогда ей по-настоящему не помогал. Но прежде чем он смог заговорить, она улыбнулась ему с нежностью, от которой у него скжалось сердце. «Как хочешь, дорогой», - сказала она.

С той поры Иона ночевал на антресоли, откуда теперь почти не спускался.

Посетители исчезли, потому что Иону нельзя было застать ни днем, ни вечером. Одним говорили, что он за городом, другим, когда надоедало лгать, объясняли, что он нашел себе мастерскую. По-прежнему приходил только верный Рато. Он взбирался на стремянку, и над помостом показывалась его крупная голова. «Как дела?» - спрашивал он. «Прекрасно». - «Ты работаешь?» - «А как же!» - «Но ведь у тебя нет холста!» - «И все же я работаю». Трудно было продолжать этот диалог стремянки с антресолью. Рато качал головой, спускался, чинил Луизе пробки или замок, потом, не влезая на стремянку, прощался с Ионой, который из темноты отвечал ему: «Привет, старина». Однажды вечером он добавил: «И спасибо». - «За что?» - «За то, что ты меня любишь». - «Вот новость!» - сказал Рато и ушел.

В другой вечер Иона позвал Рато, и тот поспешно подошел. В первый раз наверху горела лампа. Иона с озабоченным выражением лица выглянул из антресоли. «Дай мне холст», - сказал он. «да что с тобой? Ты исхудал, ты похож на привидение». - «Я уже несколько дней почти не ем. Но это ничего, мне нужно работать». - «Поешь сначала». - «Нет, я не хочу есть». Рато принес холст. Прежде чем скрыться в глубине антресоли, Иона спросил у него: «Как они там?» - «Кто?» - «Луиза и дети». - «У них все в порядке. Но им было бы лучше, если бы ты был с ними». - «Я с ними не расстаюсь. Главное - скажи им, что я с ними не расстаюсь». И он исчез. Рато высказал свое беспокойство Луизе. Та призналась ему, что уже несколько дней не находит себе места. «Как быть? Ах, если бы я могла работать вместо него!» - Она горестно смотрела на Рато. - Я не могу без него жить!» - сказала она. Рато поразило, что лицо у нее снова стало юным. И тут он заметил, что она покраснела. Лампа горела всю ночь и все утро следующего дня. Когда Рато или Луиза подходили к антресоли и обращались к Ионе, он отвечал только: «Оставь меня, я работаю». В полдень он попросил керосину. Коптившая лампа снова разгорелась и ярко светила до самого вечера. Рато остался ужинать с Луизой и детьми. В полночь он попрощался с Ионой. У антресоли, по-прежнему освещенной, он с минуту помешкал, потом ушел, ничего не сказав. Утром, когда Луиза встала, лампа все еще горела. Выдался прекрасный день, но Иона этого не замечал. Холст был повернут лицовой стороной к стене, а он сидел в изнеможении, уронив руки на колени. Он говорил себе, что отныне никогда больше не будет работать. Он был счастлив. Слышно было, как хныкают дети, льется вода из крана, звякает посуда. Луиза что-то говорила. По улице проезжал грузовик, и в огромных окнах дребезжали стекла. Жизнь шла, мир был юн и прекрасен, Иона прислушивался к милой суетне людей. В таком отдалении она не препятствовала наполнявшей его радостной силе, его искусству, его мыслям, которые он не мог высказать, которым суждено было навсегда остаться неизреченными, но которые поднимали его в недосягаемую высоту, где так вольно и сладко дышится. Дети бегали по комнатам, маленькая смеялась, а вот засмеялась и Луиза - он так давно не слышал ее смеха. Он их любил! Как он любил их! Он погасил лампу, и в наступившей темноте... что это, уж не его ли звезда засияла, как прежде? Да, это была она, он узнавал ее, и сердце его переполняла благодарность. И, глядя на нее, он вдруг бесшумно упал.

«Ничего страшного, - сказал врач, которого позвали к Ионе. - Он слишком много работает. Через неделю он будет на ногах». «Он выздоровеет, доктор, вы в этом

Камю Альбер Изгнание и царство filosoff.org
уверены?» – спросила подавленная Луиза. «Выздоровеет». В другой комнате Рато рассматривал холст. Он был совершенно чист, только посредине Иона крохотными буквами написал одно слово: не то «отъединение», не то «объединение» – трудно было разобрать.

РАСТУЩИЙ КАМЕНЬ

Машина тяжело повернула на грязной площадке из латерита. Фары вдруг высветили в ночи с одной, а потом с другой стороны дороги две деревянные лачуги, крытые жестью. Направо от второй в легком тумане виднелась башня из неотесанных балок. От вершины башни шел металлический кабель; невидимый в месте, где он крепился, кабель блестел, попадая в свет фар, а потом исчезал за насыпью, перегородившей дорогу. Машина замедлила ход и остановилась в нескольких метрах от лачуг. С правой стороны от шофера из нее выбирался мужчина, который упорно силился извлечь себя из дверцы. Наконец, выпрямившись, он слегка покачнулся своим мощным телом колосса. В темноте рядом с машиной, усталый, тяжело вросший в землю, он, казалось, прислушивался к глухому рокоту мотора. Потом он двинулся по направлению к насыпи и вошел в конус света фар. Он остановился на вершине склона, силуэт его массивной спины вырисовывался во мраке. Через некоторое время он обернулся. Черное лицо шофера блестело над приборной доской и улыбалось. Мужчина сделал знак, шофер выключил мотор. Глубокая прохладная тишина тотчас упала на дорогу и лес. Послышался шум воды. Мужчина смотрел вниз на реку, обозначенную только спокойным движением темноты, отливающей блестящей чешуей. Более плотная и застывшая вдалеке ночь, видимо, была другим берегом. Однако внимательно присмотревшись, на этом неподвижном берегу можно было заметить желтоватый огонек, похожий на свет масляной лампы. Колossal обернулся к машине и покачал головой. Шофер

© Перевод на русский язык, Д. Вальяно, Л. Григорьян, 1998

погасил фары, снова сделал так несколько раз. И всякий раз на насыпи появлялся и опять исчезал человек, все более могучий и массивный при каждом появлении. Внезапно на другом берегу невидимая рука несколько раз подняла фонарь. При последнем знаке шофер окончательно выключил фары. Машина и колосс исчезли в ночи. При потушенных фарах река стала почти видима, во всяком случае, временами она вздрагивала своими продолговатыми мышцами. По обе стороны дороги на небе вырисовывались темные кущи леса, они казались совсем близкими. Мелкий дождик, смочивший час назад дорогу, еще моросил в теплом воздухе, утяжеляя тишину и неподвижность этой большой поляны посреди девственного леса. В черном небе подрагивали запотевшие звезды.

С другого берега послышался лязг цепей и приглушенный плеск. Над лачугой, справа от все еще ожидающего мужчины, натянулся провод. Глухой скрип пробегал по нему одновременно с шумом рассекаемой воды, который доносился с реки. Скрип стал равномерным, шум воды еще усилился, потом стал совсем явственным по мере того, как свет фонаря приближался. Теперь уже можно было различить окружающее его желтоватое сияние. Сияние мало-помалу расширялось и снова сократилось, когда сквозь туман в свете фонаря стала вырисовываться квадратная крыша из сухих пальм, поддерживаемая по четырем углам толстыми стволами бамбука. Этот грубый навес, вокруг которого двигались смутные тени, медленно приближался к берегу. Когда он был приблизительно на середине реки, в желтом свете отчетливо обозначились три маленьких человечка с обнаженными торсами, почти черные, в конических шляпах. Они стояли неподвижно, слегка расставив ноги и немного наклонив тела, чтобы сохранить равновесие под напором мощного течения реки, ударяющей о борт нескладного парома, идущего сквозь ночь. Когда паром еще немного приблизился, мужчина различил за навесом двух рослых негров, одетых только в брюки из холстины и тоже в широкополых соломенных шляпах. Стоя бок о бок, они всем телом наваливались на шесты, медленно погружающиеся в реку у задней части парома, когда негры одним замедленным движением склонялись над водой, едва удерживая равновесие. Впереди три неподвижных молчаливых мулата смотрели на приближающийся берег, не поднимая глаз на того, кто их ожидал. Внезапно паром ударился о край причала, выступавшего над водой, которую осветил замигавший от удара фонарь. Рослые негры застыли, подняв над головой руки и уцепившись за концы погруженных в воду шестов, мышцы на их руках были напряжены, по ним пробегала непрерывная дрожь, сообщаемая, казалось, самой водой. Остальные паромщики забросили цепи вокруг быков причала, потом спрыгнули на доски и опустили какое-то подобие подъемных мостков, наклонно легших на переднюю часть парома.

Мужчина вернулся к машине и сел в нее, пока шофер заводил мотор. Машина медленно атаковала насыпь, выставив капот в небо, затем, опустив его к реке, стала спускаться. Притормаживая, она катилась, скользила по грязи, останавливалась и

трогалась снова. Въехав на причал под шум подпрыгивающих досок, она достигла края, где все так же молча мулаты выстроились по обеим сторонам, и медленно перекатилась на паром. Он чуть погрузился в воду, как только передние колеса коснулись его, и почти сразу же поднялся, чтобы принять всю тяжесть автомобиля. Потом шофер подвел машину к задней части парома и остановил ее перед квадратной крышей, где висел фонарь. Мулаты тотчас убрали перекинутые на причал мостки и одним движением прыгнули на паром, одновременно отвязывая его от грязного берега. Река выгнулась под паромом, подняла его на поверхность своих вод, и он медленно поплыл вдоль провода на конце устремленного к небу длинного стержня. Тогда рослые негры ослабили свои усилия и снова взялись за шесты. Мужчина и шофер вышли из машины и неподвижно стали у борта парома лицом к течению. Во время маневра никто не разговаривал, каждый продолжал стоять на своем месте, молча и неподвижно, кроме одного из рослых негров, который сворачивал папироску из грубой бумаги.

Мужчина смотрел на пролом, из которого вытекала река, спускаясь к ним из бразильского леса. Здесь река была шириной в несколько сотен метров, она прижимала свои мутные, шелковистые воды к бортам парома, слегка заливая его, и потом сливалась за ним в один широкий поток, тихо катящийся сквозь темный лес к морю и ночи.

Витал запах, идущий не то от воды, не то от рыхлого, низко нависшего неба. Теперь слышались тяжелые всплески под паромом и временами доносящийся с обоих берегов зов жаб или странные крики птиц. Колossal подошел к шоферу. Тот, маленький и худощавый, облокотившись на один из бамбуковых столбов, засунул руки в некогда голубой комбинезон, теперь покрытый красноватой пылью, которую они глотали весь день, пока ехали. С улыбкой, расцветшей на всем его, хоть и молодом, но сморщенном лице, он глядел невидящими глазами на утомленные звезды, еще плавающие во влажном небе.

Но крики птиц становились все отчетливее, к ним примешивались какие-то незнакомые звуки, и почти сразу провод начал скрипеть. Рослые негры погрузили свои шесты и вслепую пытались нащупать дно. Мужчина повернулся к берегу, который они только что покинули. Тонущий в сумраке ночи и водах реки, он высился, огромный и угрюмый, как континент деревьев, простиравшийся на тысячи километров за ним. Зажатая между совсем близким океаном и этим зеленым морем горстка людей, относимая в этот час течением по дикой реке, казалась совсем затерянной в бескрайнем мире. Когда паром стукнулся о новую пристань, казалось, будто они, разорвав все цепи, во мраке причалили к какому-то неведомому острову после долгих дней и ночей безумного плавания.

На берегу послышались голоса людей. Шофер расплатился с ними, и они странно веселыми голосами в этой тяжелой夜里 по-португальски попрощались с уже заводившими машину путниками.

- Они сказали, что до Игуапы шестьдесят километров. Три часа езды и баста. Сократ доволен, - объявил шофер.

Мужчина засмеялся тяжелым и жарким смехом, похожим на него самого.

- Я тоже доволен, Сократ. Только дорога была тяжелая.

- Слишком тяжелый, месье д'Аппаст, - ты слишком тяжелый, - шофер тоже смеялся и не мог остановиться.

Машина немного набрала скорость. Она катилась между стеной высившимися деревьями и зеленою массой непроходимых дебрей, среди мягкого приторного запаха.

Перекрещающиеся траектории светящихся мух беспрерывно пересекали лесной сумрак и время от времени красноглазые птицы ударялись о ветровое стекло. Иногда из глубин ночи до них доносилось странное рычание, и шофер поглядывал на своего соседа, забавно врающая глазами.

Поворот за поворотом, дорога пересекала маленькие речки, через которые были перекинуты мостки из раскачивающихся досок. Через час начал сгущаться туман. Заморосил мелкий дождик, размывавший свет фар. Несмотря на толчки, д'Аппаст задремал. Теперь он уже не ехал по влажному лесу, но снова по дорогам ла Серры, по которым они катили утром при отъезде из Сан-Паулу. С этих немощенных дорог непрестанно вздымалась красная пыль, вкус которой они еще чувствовали во рту; насколько хватало глаз, пыль устилала скучную степную растительность. Тяжелое солнце, бледные потрескавшиеся горы, изголодавшиеся зебу на дороге и их эскорт - устало парящие распластанные в воздухе ястребы, долгое, бесконечно долгое плавание через красную пустыню... Д'Аппаст вздрогнул. Машина остановилась. Теперь они очутились в Японии: по обеим сторонам дороги тянулись дома с хрупкими украшениями, а в домах невидимые кимоно. Шофер разговаривал с каким-то японцем в грязном комбинезоне и бразильской соломенной шляпе. Машина тронулась снова.

- Он сказал: только сорок километров.

- Где мы были? В Токио?

- Нет, все японцы у нас приезжают сюда.

- Почему?

- Никто не знает. Они ведь желтые, ты же знаешь, месье д'Аппаст.

Лес понемногу редел, дорога становилась более легкой, хоть и скользкой. Колеса буксовали по песку. Через дверцу проникало влажное, теплое, немного терпкое дуновение.

- Чувствуешь, - с видимым удовольствием сказал шофер, - это хорошее море. Скоро Игуала.

- Если только у нас хватит бензина, - усомнился д'Аппаст.

Он снова мирно уснул.

Рано утром, сидя на кровати, д'Аппаст удивленно озирал больничную палату, где он только что проснулся.

Высокие стены, до половины покрашенные коричневой известью, выше были побелены в незапамятные времена, и лоскутья желтоватых корок покрывали их до потолка. Друг против друга стояли два ряда коек. д'Аппаст видел только одну смятую постель в конце своего ряда, но она была пустой. Слева от себя он услышал шум и обернулся к двери, где, смеясь, стоял Сократ, держа в каждой руке по бутылке минеральной воды.

- Счастливое воспоминание, - сказал он. д'Аппаст встряхнулся. Да, больница, куда мэр города

поселил их накануне, называлась «Счастливое воспоминание».

- Надежное воспоминание, - продолжал Сократ. - Они мне сначала приказали построить больницу, потом построить воду. А пока «Счастливое воспоминание» держит газированную воду, чтобы ты умылся.

Он исчез, смеясь и напевая, с виду совсем не обессиленный от непрерывного чихания, всю ночь сотрясавшего его и мешавшего д'Аппасту уснуть.

Теперь д'Аппаст полностью пробудился. Сквозь зарешеченные окна он видел перед собой маленький дворик с красной землей, размытой дождем, который бесшумно моросил над рощицей крупных алоэ. По двору шла женщина, развернув над головой желтую косынку. д'Аппаст снова лег, потом сразу же вскочил с кровати, согнувшись и застонаившись под его тяжестью. В этот же миг вошел Сократ:

- За тобой, месье д'Аппаст. Мэр ждет во дворе. Но заметив всклокоченный вид д'Аппаста, добавил:

- Не волнуйся, он никогда не спешит.

Побравшись и умывшись минеральной водой, д'Аппаст вышел под козырек пристройки. Мэр, низкорослый человечек в очках с золотой оправой, казалось, был всецело поглощен угремым созерцанием дождя. Однако обворожительная улыбка преобразила его лицо, как только он заметил д'Аппаста. Он напряг свое маленькое тело и, бросившись к колоссу, попытался обнять мощный торс «месье инженера». В ту же самую минуту перед ними затормозила машина с другой стороны невысокой стены, окружающей двор, она заскользила по мокрой глине и как-то криво остановилась.

- Судья! - сказал мэр.

Судья, как и мэр, был одет в темно-синее. Но он был гораздо моложе или, по крайней мере, казался таковым благодаря своей элегантной фигуре и свежему лицу удивленного юноши. Сейчас он шел через двор, направляясь к ним и грациозно избегая луж. В нескольких шагах от д'Аппаста он уже протягивал руки и поздравлял его с благополучным прибытием. Он горд принять месье инженера, который оказывает честь их неприметному городу, он радуется неоценимой услуге, которую месье инженер окажет Игуале, возглавив строительство маленькой дамбы; эта дамба спасет от затопления нижние кварталы. Повелевать водами, укрощать реки, ах, это великое ремесло, и бесспорно бедняки Игуалы запомнят имя господина инженера и еще многие годы будут поминать его в своих молитвах. д'Аппаст, побежденный столь неотразимым шармом и красноречием, поблагодарил за прием и больше уже не спрашивал себя, какое отношение к дамбе мог иметь судья. Впрочем, по мнению мэра, им следовало посетить клуб, где влиятельные горожане желали достойно принять господина инженера перед тем, как отправиться осматривать нижние кварталы. Кто же эти влиятельные граждане?

- Ну, - сказал мэр, - я сам, поскольку я мэр, присутствующий здесь господин Карвало, начальник порта и некоторые другие менее значительные лица. Впрочем, вам можно не обращать на них внимания, они не говорят по-французски.

д'Аппаст позвал Сократа и распорядился, чтобы тот разыскал его на исходе утра.

- Хорошо, - сказал Сократ. - Я пойду в Сад Фонтана.

- В Сад?

- Да, его все тут знают. Не надо волноваться, месье д'Аппаст.

Больница, д'Аппаст заметил это выходя, была построена на краю леса, густая листва почти нависала над крышами. На кроны деревьев, сливающиеся в единую поверхность, теперь ниспадала пелена мелкого дождя, которую густой лес бесшумно впитывал, как огромная губка. Город - около сотни домов, покрытых выцветшей черепицей, - простирался между лесом и рекой, отдаленное дыхание которой

Камю Альбер Изгнание и царство filosoff.org

доходило до больницы. Машина въехала сначала на размытые улицы и почти тотчас же вырвалась на довольно просторную прямоугольную площадь, хранящую на своей красной глине между многочисленными лужами следы шин, железных колес и сабо. Вокруг низкие дома, облицованные разноцветной штукатуркой, образовывали площадь, за которой виднелись две круглые башни бело-голубой, в колониальном стиле церкви. Над этим голым пейзажем витал запах соли, идущий от лимана. Посреди площади бродило несколько промокших силузтов. У домов толкалась пестрая толпа пастухов, японцев, индейцев-метисов, там же прохаживались мелкими шагками знатные граждане города, элегантные темные костюмы которых казались невероятно экзотичными. Люди неспешно сторонились, чтобы уступить место машине, потом останавливались и провожали ее взглядами. Когда машина встала на площади перед одним из домов, вокруг нее образовался молчаливый кружок промокших пастухов. В клубе, представляющем собой нечто вроде маленького бара на втором этаже со стойкой из бамбука и металлическими столиками, собралось много почетных горожан. После того, как мэр со стаканом в руке поздравил д'Аппаста с благополучным прибытием и пожелал ему всяческого благополучия, все выпили тростниковой водки в честь гостя.

Но в то время как д'Аппаст пил, стоя у окна, огромный верзила в бриджах и крагах, подошел к нему, немного покачиваясь, и разразился быстрой и непонятной речью, в которой инженер уловил только слово «паспорт». Он помешкал, потом вытащил документ, который тот жадно ухватил. Полистав паспорт, верзила явственно впал в дурное настроение. Он снова заговорил, потрясая паспортом перед носом у инженера, спокойно наблюдавшего за этим сердитым господином. Улыбающийся судья тотчас направился к нему и спросил, в чем дело. Пьячуга с минуту изучал хрупкое созданье, позволившее себе прервать его, потом, пошатываясь все более рискованно, вновь потряс паспортом теперь уже перед лицом нового слушателя. д'Аппаст мирно усился за столик и ждал. Диалог стал очень оживленным, и вдруг судья заговорил громовым голосом, который у него трудно было заподозрить. И верзила неожиданно отступил с видом ребенка, застигнутого на месте преступления. Судья еще гремел, когда он пошел к двери кривоватой походкой наказанного школьника и мгновенно исчез.

Судья сразу же объяснил д'Аппасту своим прежним благозвучным голосом, что этот грубиян – шеф полиции, который осмелился заподозрить, что у господина д'Аппаста не в порядке паспорт, и что он будет наказан за свою выходку. Затем господин Карвало обратился к своим почетным согражданам, образовавшим круг, и, казалось, спрашивал у них совета. После короткой дискуссии судья принес д'Аппасту торжественные извинения, попросил его согласиться, что только излишком выпитого можно объяснить такой недостаток уважения и признательности, а между тем весь город Игуапа так обязан ему; наконец судья попросил его соизволить самому выбрать наказание, которое подобает наложить на этого злосчастного субъекта. д'Аппаст ответил, что он против какого бы то ни было наказания, что это был незначительный инцидент и что он спешит пойти к реке. Тогда взял слово мэр, утверждая с сердечным добродушием, что наказание действительно необходимо, что виновный будет арестован и что они все вместе будут ждать, чтобы их выдающийся гость соизволил решить его судьбу. Никакие возражения не смогли сломить эту улыбчатую, но непреклонную суворость, и д'Аппаст вынужден был пообещать, что подумает. Потом решили посетить нижние кварталы.

Река уже широко расстилала свои пожелтевшие воды на низких осклизлых берегах. Они миновали последние дома Игуапы и находились между рекой и высокой крутой насыпью, где ютились хижины, слепленные из самана и веток. Перед ними прямо с насыпи начался лес, другой берег тоже был лесистый. Но русло реки на глазах расширялось между деревьями вплоть до едва различимой линии, скорее серой, чем желтой, которая была морем. д'Аппаст молча подошел к насыпи, на склоне ее разные уровни паводка оставили еще свежие следы. Размытая дождем тропинка поднималась к хижинам. Здесь стояли негры, молча глядя на пришедших. Несколько пар держались за руки, на самом краю насыпи рядом со взрослыми малыши-негритята со вздутыми животами и худыми ножками таращили свои круглые глаза.

Подойдя к хижинам, д'Аппаст жестом подозвал начальника порта, высокого смешливого негра в белой униформе. д'Аппаст спросил у него по-испански, можно ли зайти в какую-нибудь хижину. Начальник был в этом уверен, он даже находил, что это удачная мысль и что господин инженер увидит очень любопытные вещи. Он обратился к неграм, долго с ними говорил, показывая на д'Аппаста и реку. Те слушали, не говоря ни слова. Когда начальник закончил, никто не пошевелился. Он нетерпеливо заговорил снова. Потом окликнул одного из мужчин, который покачал головой. Тогда начальник отчеканил что-то коротко, повелительным тоном. Мужчина отдался от группы, повернулся к д'Аппасту и жестом показал ему дорогу. Но во взгляде его сквозила неприязнь. Он был немолод, голова покрыта короткой седеющей щетиной, лицо худое и увядшее, однако тело еще молодое, с сильными сухими

плечами и тугими мышцами, различимыми под полотняными штанами и разорванной рубахой. Они прошли вперед, сопровождаемые начальником и толпой негров, и вскарабкались на другую насыпь, более отлогую, где земляные, жестяные и тростниковые хижины едва цеплялись за землю, и у основания были укреплены увесистыми камнями. Им встретилась женщина, которая спускалась по тропинке, временами скользя босыми ногами, на голове она несла наполненный водой жбан. Затем они пришли на маленькую площадку, по краям которой стояли три хижины. Мужчина подошел к одной из них и открыл бамбуковую дверь с петлями из лиан. Он молча посторонился, устремив на инженера тот же бесстрастный взгляд. В хижине д'Аппаст сначала не увидел ничего, кроме угасающего очага прямо на полу в центре комнаты. Потом различил в одном из углов медную кровать с голым продавленным матрацем, в другом углу стоял стол с глиняной посудой и между ними подобие треножника, на котором высилась лубочная картинка, изображавшая святого Георгия. Это было все, не считая кучи лохмотьев справа от входа, и под потолком несколько разноцветных набедренных повязок, сохших над огнем. Застыв на месте, д'Аппаст вдыхал запах дыма и нищеты, вздывавшийся от земляного пола и перехватывавший горло. У него за спиной начальник хлопнул в ладоши. Инженер обернулся и на пороге, против света, увидел изящный силуэт черной девушки, которая ему что-то протягивала: он взял стакан и выпил крепкой тростниковой водки. Девушка протянула поднос, чтобы взять пустой стакан, и вышла; ее движения были такими гибкими и грациозными, что д'Аппасту вдруг захотелось ее удержать. Но выйдя за неё, он не узнал ее в толпе негров и почетных горожан, теснившихся вокруг хижины. Он поблагодарил старика, который молча поклонился и ушел. Начальник порта, шедший позади, снова пустился в объяснения, расспрашивал, когда французская компания из Рио намерена начать работы, и может ли дамба быть построена до сезона больших дождей. Д'Аппаст не знал и, по правде, не думал об этом. Он спустился к прохладной реке под моросящим дождем. Его непрерывно преследовал этот громкий вездесущий шум, он не переставал его слышать с самого своего приезда и не мог сказать с уверенностью, было ли это шелестом воды или деревьев. Добравшись до берега, он смотрел на далекую неясную линию моря, где на тысячи километров ничего, кроме воды, а далее Африка и еще дальше - Европа, из которой он приехал.

- Начальник, - спросил он, - а на что живут люди, которых мы только что видели?
- Они работают, когда в них есть необходимость, - ответил начальник. - Мы бедны.
- И это самые бедные?
- Да, самые бедные.

Судья, который подходил, то и дело поскользываясь в своих изящных туфлях, сказал, что они уже полюбили господина инженера, который даст им работу.

- А знаете, - сказал он, - эти люди танцуют и поют каждый день.
Затем, сменив тему, спросил у д'Аппаста, думал ли он о наказании.

- Каком наказании?
- Ну, нашего шефа полиции.
- Его нужно отпустить.

Судья сказал, что это невозможно, и он должен быть наказан. Но д'Аппаст уже шел по направлению к Игуапе.

В маленьком Саду Фонтана, таинственном и тихом под мелким дождиком, грозди причудливых цветов спускались вдоль лиан между банановыми деревьями и панданусами. Нагромождения влажных камней отмечали пересечения тропинок, где в этот час гуляла пестрая толпа. Метисы, мулаты, несколько пастухов тихо разговаривали или, не убыстряя шаг, углублялись в бамбуковые аллеи до того места, где купы деревьев и лесной поросли становились более плотными, а потом и непроходимыми. Там сразу же начинался лес. Д'Аппаст искал Сократа среди толпы, но тот внезапно оказался у него за спиной.

- Это праздник, - смеясь, проговорил Сократ; он оперся на высокие плечи д'Аппаста, чтобы подпрыгнуть на месте.

- Какой праздник?

- Э! - удивился Сократ, стоя теперь лицом к д'Аппасту, - ты разве не знаешь? Праздник доброго Иисуса. Каждый год все приходят в грот с молотком. Сократ показывал не на грот, а на группу людей, которые, казалось, чего-то ждали в углу сада.

- Вот, смотри! Однажды добрая статуя Иисуса приплыла с моря, поднимаясь вверх по реке. Ее нашли рыбаки. Такая красивая! Такая красивая! Тогда они ее вымыли здесь в гроте. А потом в гроте вырос камень. Каждый год праздник. Молотком ты разбиваешь камень на кусочки, чтобы освятить счастье. А он продолжает расти, хоть ты его разбиваешь. Это чудо.

Они подошли к гроту, низкий вход в который виднелся над ожидающими людьми. Внутри, в тени, усеянной дрожащими огнями свеч, сидевший на корточках человек был в этот момент молотком по камню. Это был худой пастух с длинными усами;

вскоре он встал и вышел из грота, держа в открытой для всех ладони кусочек влажного сланца, который он за несколько секунд перед тем, как уйти, осторожно зажал в руке. В грот, пригнувшись, вошел другой человек.

д'Аппаст обернулся. Вокруг, не обращая на него внимания, бесстрастно ожидали своей очереди пилигримы, мокшие под мелким дождем, спускавшимся с деревьев.

д'Аппаст тоже ждал у этого грота, сам не зная чего. Говоря по правде, он уже месяц, с момента приезда в эту страну, все время чего-то ждал. Он ждал в алом зное влажных дней, под мерцающими ночных звездами, ждал, несмотря на свои обязанности - строительство дамб, прокладку дорог - как будто работа, ради которой он сюда приехал, была всего лишь предлогом, поводом для какой-то неожиданности или встречи; он их даже не представлял себе, но тем не менее терпеливо ожидал их на краю света. д'Аппаст вздрогнул, никто в этой маленькой группе местных жителей не обращал на него внимания, и он направился к выходу. Нужно было возвращаться к реке и работать.

Но Сократ ждал его у двери, занятый оживленной беседой с низкорослым кряжистым человеком, скорее желтым, чем чернокожим. Его наголо выбритый череп еще больше увеличивал красивого очертания лоб; на широком гладком лице его красовалась очень черная борода, подстриженная квадратом.

- Это наш силач! - вместо представления сказал Сократ. - Завтра он совершил шествие.

Человек, одетый в морской костюм из грубой саржи, тельняшку с голубыми и белыми полосками под морской курткой, внимательно изучал д'Аппаста, глядя на него черными спокойными глазами. В то же время он улыбался, показывая ослепительно белые зубы меж полных глянцевых губ.

- Он говорит по-испански, - сказал Сократ, поворачиваясь к незнакомцу. -

Расскажи месье д'Аппасту.

И тут же, пританцовывая, он ушел к другой группе. Человек перестал улыбаться и с откровенным любопытством посмотрел на д'Аппаста.

- Это тебя интересует, капитан?

- Я не капитан, - поправил его д'Аппаст.

- Неважно. Но ты сеньор. Так мне Сократ сказал.

- Я нет. Но мой дед был сеньором. Его отец тоже и все до него. Теперь в наших краях больше нет сеньоров.

- А! - смеясь, сказал негр. - Понимаю. Все стали сеньорами.

- Нет, это не так. Просто нет ни сеньоров, ни народа. Тот, поразмыслив, спросил:

- Никто не работает, никто не страдает?

- Ну нет, работают и страдают миллионы людей.

- Тогда это народ.

- В этом смысле да, народ. Но его хозяева - полицейские или торговцы.

Приветливое лицо мулата замкнулось. Потом он проворчал:

- Хм! Покупать и продавать, а! Какая мерзость! А с полицией командуют и собаки.

Вдруг он рассмеялся.

- А ты не продаешь?

- Почти нет. Я строю мосты, дороги.

- Хорошо! А я кок на пароходе. Если хочешь, я тебе приготовлю наше любимое блюдо из черной фасоли.

- Хочу.

Кок подошел к д'Аппасту и взял его за руку:

- Слушай, мне нравится то, что ты говоришь. Я тебе тоже кое-что сейчас скажу. И тебе, может, это понравится.

Он увлек его ко входу и усадил на влажную деревянную скамью рядом с бамбуковой рощицей.

- Я был в море, открытом море Игуапы, на маленьком танкере, который делает каботажные рейсы и снабжает нефтью порты побережья. На борту вспыхнул пожар. Нет, не по моей вине! Да что там! Я знаю свое ремесло. Просто несчастный случай! Нам удалось спустить шлюпки на воду. Ночью море поднялось, оно опрокинуло лодку, и меня накрыло волной. Когда всплыл, ударился о шлюпку головой. И начал тонуть. Ночь была темной, море волновалось, и потом, я плохо плаваю; я испугался. Вдруг вдалеке я увидел свет и узнал купол церкви Доброго Иисуса в Игуапе. Тогда я сказал добруму Иисусу, что, если он меня спасет, я понесу во время шествия на голове камень весом в пятьдесят килограммов. Ты мне не поверишь, но вода сразу успокоилась, и мое сердце тоже. Я медленно поплыл и добрался до берега. Завтра я выполню свое обещание.

Вдруг он подозрительно взглянул на д'Аппаста.

- Ты не смеешься, а?

- Нет, не смеюсь. Нужно выполнить то, что пообещал.

Тот хлопнул его по плечу.

- Теперь пошли к моему брату, он на реке. Я тебе приготовлю фасоль.

- Нет, - сказал д'Аппаст. - У меня дела. Если хочешь, вечером.
- Ладно. Но сегодня ночью в большой хижине танцы и молебны - праздник святого Георгия.

д'Аппаст спросил его, будет ли он тоже танцевать. Лицо кока вдруг посуворело; впервые он отвел глаза куда-то в сторону.

- Нет, нет, я не буду танцевать, завтра нужно нести камень. Он тяжелый. Сегодня вечером я приду почтить святого. Потом рано уйду.

- Это долго длится?

- Всю ночь и немного утром.

Он как-то пристыженно посмотрел на д'Аппаста.

- Приходи на танцы. А потом ты меня уведешь, иначе я останусь, начну танцевать и, может, не смогу остановиться.

- Ты любишь танцевать?

Глаза кока плотоядно заблестели.

- О, да! Люблю. И потом, там сигары, святые, женщины. Все забываешь и больше себе не хозяин.

- Там будут женщины? Все женщины города?

- Города - нет, но из хижин - да. Кок уже снова улыбался.

- Приходи. Капитану я подчиняюсь. И ты мне поможешь завтра сдержать обещание. д'Аппаст почувствовал, как в нем нарастает раздражение. Что ему до этого нелепого обета? Но он видел перед собой красивое открытое лицо, доверчиво улыбающееся ему; это черное лицо, казалось, излучало здоровье и жизнелюбие.

- Ладно, приду, - сказал он. - А теперь я тебя немного провожу.

Не зная почему, он тут же вновь представил, как черная девушка подавала ему «угощение для дорогого гостя».

Они вышли из сада, зашагали по грязным улицам и дошли до ухабистой площади; ее окружали невысокие дома, от чего она казалась еще более просторной. Теперь по штукатурке домов текла влага, хотя дождь по-прежнему лишь накрапывал. Сквозь рыхлое покрывало неба доносился приглушенный шум реки и шелест деревьев. Они шли в ногу шаг в шаг, тяжелый у д'Аппаста и упругий у кока. Время от времени кок поднимал голову и улыбался своему спутнику. Они направились к церкви, возвышавшейся над домами, достигли конца площади, потом прошли по грязным улицам, где теперь витали резкие и назойливые запахи кухни. Время от времени из какой-нибудь

двери женщины с тарелкой или кухонной утварью в руках высовывали любопытные лица, потом исчезали. Миновав церковь, они углубились в старый квартал, зажатый между такими же низкими домами и вдруг вышли на шум невидимой реки позади хижин, которые д'Аппаст сразу узнал.

- Ладно. Я тебя оставляю. До вечера, - сказал он.

- Да. У церкви.

Но кок все еще удерживал д'Аппаста за руку. Он явно колебался. Потом все-таки сказал:

- А ты никогда не взвывал к Богу, не давал обещания?

- Пожалуй, однажды.

- При кораблекрушении?

- Вроде того.

И д'Аппаст резко вырвал руку, уже повернулся, чтобы уйти, но в этот момент встретил взгляд кока. Он поколебался, потом улыбнулся.

- Могу тебе сказать, хотя это и неважно. Один человек умирал по моей вине.

Тогда, мне кажется, я просил небеса.

- Ты дал обещание?

- Нет. Но я хотел бы дать обещание.

- Давно это было?

- Незадолго перед тем, как приехать сюда. Кок взялся руками за бороду. Его глаза блестели.

- Ты капитан, - проговорил он, - мой дом - твой дом. И потом, ты мне поможешь сдержать обещание, как будто ты дал его сам. Это тебе тоже поможет.

- Не думаю, - улыбнулся д'Аппаст.

- Ты гордец, капитан.

- Я был гордецом, теперь я одинок. Но скажи мне, твой добрый Иисус всегда тебя слышал?

- Всегда? Нет, капитан.

- Но тогда как же?

Кок рассмеялся чистым детским смехом.

- Что ж, ведь он свободен, разве не так?

В клубе, где д'Аппаст завтракал с почетными горожанами, мэр сказал ему, что он должен расписаться в золотой книге муниципалитета, чтобы, по крайней мере, осталось свидетельство о великом событии - его прибытии в Игуапу. Судья со своей

стороны нашел две или три новых формулировки, чтобы прославить, помимо добродетей и талантов их гостя, простоту, с которой д'Аппаст представлял у них великую страну, к которой имел честь принадлежать. д'Аппаст в ответ сказал только, что действительно имеет эту честь и что ему посчастливилось получить от компании подряд на эти длительные работы. На что судья, озадаченный его чрезмерным смиренiem, воскликнул:

- Кстати, вы подумали, как нам поступить с начальником полиции?

д'Аппаст, улыбаясь, посмотрел на него. -да.

Он счел бы личным одолжением и исключительной любезностью, если бы от его имени соизволили простить этого шалопая, чтобы пребывание его, д'Аппаста, здесь, где он был так счастлив узнать этот прекрасный город и его жителей, началось в обстановке согласия и дружбы. Внимательно слушая его, судья улыбался и качал головой. Некоторое время он поразмышилял с видом знатока над сказанным, затем обратился к присутствующим, чтобы они порукоплескали благородным традициям великой французской нации и, снова повернувшись к д'Аппасту, объявил, что удовлетворен тем, как закончилось это дело.

- Раз так, - заключил он, - мы сегодня вечером пообедаем с шефом.

Но д'Аппаст сказал, что друзья пригласили его на церемонию в честь святого Георгия в хижинах.

- Ах, так! - сказал судья. - Что ж, я рад, что вы туда идете. Вы убедитесь, что наш народ трудно не любить.

Вечером д'Аппаст, кок и его брат сидели вокруг угасшего очага в центре хижины, в которой д'Аппаст уже побывал утром. Брат кока, казалось, не удивлялся, что видит его снова. Он едва говорил по-испански и большую часть времени ограничивался тем, что молча кивал головой. Что касается кока, то сначала он заинтересовался соборами, потом долго толковал о супе из черной фасоли. День клонился к вечеру, и если д'Аппаст еще видел кока и его брата, то уже едва различал в глубине хижины очертания сидевших на корточках старухи и девушки, которая снова его угостила. Снизу доносились монотонные всплески волн.

Кок поднялся и сказал:

- Пора.

Они встали, но женщины не шевельнулись. Мужчины вышли одни. д'Аппаст помешкал, потом догнал остальных. Уже спустилась ночь, дождик прекратился. Чернеющее небоказалось текучим. В его прозрачной и темной мгле низко над горизонтом стали зажигаться звезды. Они почти мгновенно гасли одна за другой и падали в реку, как будто небо с отвращением отторгало эти последние вспышки света. Плотный воздух пропах водой и дымом. Совсем близко слышалось дыхание огромного, неподвижного леса. И вдруг издалека раздались пение и звуки барабанов; сначала глухо, потом отчетливее, они все больше и больше приближались, потом смолкли. Немного спустя показалась вереница черных девушек в белых платьях из грубого шелка и с очень низкой талией. Закутанный в красный плащ, с ожерельем из разноцветных зубов, за ними шел рослый негр, а следом беспорядочная толпа мужчин в белых пижамах и музыканты с треугольниками и барабанами, большими и маленькими. Кок сказал, что они должны присоединиться к процессии.

Хижина, в которой они оказались, пройдя вдоль берега несколько сот метров от последних хибар, была большой, пустой, относительно комфортабельной, с побеленными внутри стенами. На маленьком алтаре, украшенном пальмовыми листьями и утыканном свечами, едва освещавшими половину комнаты, красовалась великолепная лубочная картинка, где святой Георгий с торжествующим видом побеждал усатого дракона. Под алтарем, в нише, устеленной наждачной бумагой, укрывалась между свечой и миской с водой маленькая статуэтка из покрашенной в красный цвет глины, изображающая какое-то рогатое божество. Со свирепым выражением лица оно потрясало огромным ножом из фольги.

Кок провел д'Аппаста в угол, где они остались стоять, прислонившись к перегородке у двери.

- Вот так, - прошептал кок, - можно будет уйти, никому не мешая.

Хижина действительно была полна мужчин и женщин, прижатых в тесноте друг к другу. Становилось жарко. Музыканты расположились по обеим сторонам алтаря.

Танцоры и танцовщицы разделились на два концентрических круга, мужчины внутри. В центре стоял черный предводитель в красном шлеме. д'Аппаст, скрестив руки, прислонился к перегородке.

Но тут вождь, прорвав круг танцоров, подошел к ним и сказал несколько слов коку.

- Опусти руки, капитан, - проговорил кок. - Иначе ты помешаешь появиться духу святого.

д'Аппаст послушно опустил руки. Все еще привалившись спиной к перегородке, он сам со своими тяжелыми и длинными конечностями, с лицом, уже блестевшим от пота, был теперь похож на какое-то животное, на какое-то внушающее доверие божество.

Высокий негр внимательно посмотрел на него, потом удовлетворенно занял свое место. И сразу же затянул зычным голосом первые ноты мелодии, которую все подхватили хором под аккомпанемент барабанов. Круги начали вращаться в противоположных направлениях, исполняя причудливый танец, медленный и тяжелый, напористый, скорее походивший на топтание, слегка подчеркиваемое покачиванием бедер в каждом кругу.

Жара усиливалась. Однако паузы мало-помалу уменьшались, остановки делались все реже, и танец убыстрялся. Не замедляя ритма остальных танцующих, не прекращая собственный танец, высокий негр снова разорвал круги, чтобы подойти к алтарю. Он вернулся со стаканом воды и зажженной свечой, которую воткнул в землю в центре хижины. Он полил воду вокруг свечи двумя концентрическими окружностями, потом, снова выпрямившись, поднял к крыше безумные глаза. Напрягая все тело, он неподвижно ждал.

- Святой Георгий приходит. Смотри, смотри, - вытаращив от возбуждения глаза, прошептал кок.

Несколько танцов уже почти застыли в трансе, подбоченившись, с одеревеневшими движениями, с неподвижными и тусклыми глазами. Другие убыстряли ритм в конвульсиях, издавая нечленораздельные вопли. Вопли мало-помалу становились все громче, и когда они слились в один общий рев, предводитель со все еще обращенными куда-то кверху глазами сам испустил долгий, едва взятый, на пределе дыхания крик, в котором можно было различить какие-то слова.

- Видишь, - шепнул кок, - он говорит, что он на поле сражения бога.

Д'Аппаст был поражен переменой в его голосе; он посмотрел на кока, тот, наклонившись вперед и скав кулаки, с остановившимися глазами повторял на месте ритмическое топтание остальных. И вдруг д'Аппаст заметил, что и сам он уже какое-то время, не переставляя ног, всем своим телом танцует.

Но барабаны вдруг забеспокоились, и тут же разбушевался высокий красный дьявол. С горящими глазами, с четырьмя вращающимися вокруг тела конечностями он приземлялся попеременно то на одно, то на другое согнутое колено, убыстряя ритм до такой степени, что казалось, будто он в конце концов распадется на части. Но внезапно в самом разгаре действия он стал на колени и протянул одержимому короткую саблю. Высокий неф взял саблю, не переставая озираться, затем стал вращать ею над головой. В тот же миг д'Аппаст увидел кока, танцующего среди прочих. Инженер не заметил, как тот вступил в танец.

В зыбком красноватом свете удушающая пыль вздымалась с пола и еще больше сгущала воздух, липнущий к коже. д'Аппаст чувствовал, как им понемногу овладевает усталость; он дышал все тяжелее. Он даже не заметил, как у танцов появились огромные сигары, которые они теперь курили, не переставая танцевать; странный запах сигар заполнял хижину и немного пьянил его. д'Аппаст увидел кока, который, танцуя, проходил мимо него, и тоже курил сигару.

- Не кури, - сказал он.

Кок заворчал, не переставая отбивать такт, он уставился на столб в середине хижины с выражением боксера в нокдауне, затылок его сотрясалась долгая дрожь.

Рядом с ним толстая негритянка двигала справа налево своим звериным лицом, непрерывно исторгая какие-то звуки, похожие на лай. Но самые молодые негритянки погружались в жуткий транс, они не отрывали ноги от пола, тела их тряслись, и дрожь нарастала, доходя до плеч. Головы их тогда двигались спереди назад, как бы отделенные от обезглавленного тела. Вдруг в какой-то миг все зашлись в долгом, беспрерывном и однообразном вопле без вздохов и модуляций, будто все тело, мышцы и нервы переплелись вместе и породили это единое изнуряющее извержение голоса, в котором существа, дотоле безмолвные, обретают дар речи. Продолжая кричать, женщины одна за другой стали валиться на пол. Черный предводитель опускался на колени подле каждой, быстро и судорожно стискивал им виски своей огромной черной мускулистой рукой. Тогда они, покачиваясь, вставали, возвращались к танцу и возобновляли свои крики, сначала слабые, потом все более громкие и долгие, и так много раз, пока общий крик не ослабел, не иссяк, не выродился в нечто вроде хриплого лая, который сотрясал их тела, как икота. Обессиленный д'Аппаст, с мышцами, сведенными от его долгого неподвижного танца, придушенный своей собственной немотой, почувствовал, что шатается. Дышать было невозможно - жара, пыль, дым сигар, запах пота... Он поиском взглядел кока: тот исчез. д'Аппаст притиснулся вдоль перегородки и присел на корточки, превозмогая тошноту.

Когда он открыл глаза, воздух все еще был удушливым, но шум прекратился. Только барабаны отбивали бесконечный тakt, под который во всех уголках хижины топтались люди, закутанные в белые ткани. Но в центре комнаты, теперь освобожденном от стакана и свечи, группа черных девушек в полусоннамбулическом состоянии медленно танцевала, позволяя ритму опережать себя. С закрытыми глазами, но выпрямившись, они на цыпочках слегка раскачивались взад-вперед, почти не двигаясь с места. У двух из них, тучных, лицо было закрыто вуалью из волокон рафии. Стояли они по

обе стороны от другой девушки, нарядно одетой, высокой и тонкой, в которой д'Аппаст вдруг узнал дочь хозяина хижины. В зеленом платье, охотничей шляпе из голубого газа, заломленной спереди и украшенной мушкетерскими перьями, она держала в руке зелено-желтый лук со стрелой, на острие которой была наколота разноцветная птица. На хрупком теле девушки медленно покачивалась, немного откинувшись, ее прелестная головка, а на неподвижном лице застыло выражение безразличной ко всему невинной тоски. Когда музыка стихала, она сонно покачивалась. Только усиленный ритм барабанов давал ей нечто вроде невидимой подпорки, вокруг которой она обивала свои мягкие прихотливые движения, потом она снова останавливалась одновременно с музыкой и, раскачиваясь, чудом удерживая равновесие, испускала странный птичий крик, пронзительный, и в то же время мелодичный.

Д'Аппаст, зачарованный этим медленным танцем, созергал черную Диану, когда перед ним возник кок, его гладкое лицо было теперь искажено. Его глаза уже не светились добротой, в них зажегся какой-то алчный огонек. Сухо, как если бы перед ним был чужой человек, он произнес:

- Уже поздно, капитан. Они будут танцевать всю ночь, но они не хотят, чтобы ты оставался.

С тяжелой головой, д'Аппаст двинулся вслед за коком, который вдоль стены пробирался к двери. На пороге он посторонился, придерживая бамбуковую дверь, и д'Аппаст вышел. Потом он обернулся и посмотрел на кока, который стоял, не шевелясь.

- Пошли. Скоро нужно будет нести камень.

- Я остаюсь, - отрезал кок.

- А твое обещание?

Кок, не отвечая, потихоньку подталкивал дверь, которую д'Аппаст придерживал одной рукой. Они постояли так секунду, и д'Аппаст, пожав плечами, уступил. Он ушел один.

Ночь благоухала свежими душистыми запахами. Над лесом слабо светили редкие звезды южного неба, затушеванные дымкой невидимого тумана. Влажный воздух был тяжел, но после душной хижины он казался пронизанным дивной свежестью. Д'Аппаст поднялся по скользкому склону, дошел до первых хижин, спотыкаясь, как пьяный, на ухабистых тропинках. От совсем близкого леса шел легкий гул. Шум реки нарастал, весь материк всплыval в ночи, и д'Аппаста мало-помалу охватывало отвращение. Ему казалось, что его вот-вот вырвет всей этой страной, печалью ее бесконечных просторов, сине-зеленым светом лесов и ночным плеском ее огромных пустынных рек. Эта земля была слишком большой, кровь и времена года здесь смешивались в одно целое, время плавилось. Жизнь здесь шла вровень с землей, и чтобы слиться с ней, нужно было лечь и спать долгие годы на этой грязной или иссохшей почве. Там, в Европе, были позор и гнев. Здесь - изгнание и одиночество среди этих дрожащих в истоме безумцев, танцевавших, чтобы умереть. Но сквозь напоенную растительными запахами влажную ночь

до него еще раз донесся странный крик раненой птицы, исторгнутый спящей красавицей.

Когда д'Аппаст очнулся с ужасной головной болью после беспокойного сна, влажный зной навис над городом и неподвижным лесом. Сейчас он ждал под портиком больницы, глядя на свои остановившиеся часы, не зная времени, удивляясь этому ослепительному дневному свету и тишине, царившей над городом. Голубое безоблачное небо давило на блеклые крыши ближайших к больнице домов. Желтоватые ястребы, разморенные от жары, спали на доме, стоящем против больницы. Одна из птиц резко отряхнулась, открыла клюв, явно собираясь взлететь, два раза хлопнула пыльными крыльями, на несколько сантиметров поднялась над крышей и снова упала, чтобы тотчас уснуть.

Инженер спустился к городу. Главная площадь была пустынной, как и улицы, по которым он только что прошел. Вдалеке, по обеим сторонам реки и над лесом, стоял низкий туман. Зной падал вертикально, и д'Аппаст поискал уголок тени, чтобы укрыться. И тут он увидел под навесом одного из домов низенького человека, подающего ему знаки. Подойдя ближе, он узнал Сократа.

- Значит, месье д'Аппаст, тебе нравится церемония? д'Аппаст ответил, что в хижине было слишком жарко

и что он предпочитает небо и ночь.

- Да, - сказал Сократ, - у тебя дома только месса. Никто не танцует.

Он потирал руки, прыгал с ноги на ногу, вертаясь и смеялся до упаду.

- Невозможные, все они невозможные. Затем с любопытством посмотрел на д'Аппаста.

- А ты ходишь к мессе?

- Нет.

- А куда же ты ходишь?

- Никуда. Не знаю, право... Сократ снова расхохотался.

- Невозможно! Сеньор и без церкви, без ничего! д'Аппаст тоже засмеялся.
 - Да, как видишь, дома я не нашел себе места. И тогда я уехал.
 - Останься с нами, месье д'Аппаст, я тебя люблю.
 - Я бы остался, Сократ, но я не умею танцевать.
- Их смех эхом отзывался в тишине пустынного города.
- Ах, - сказал Сократ, - я и забыл. Тебя хочет видеть мэр. Он завтракает в клубе.

Внезапно он направился к больнице.

- Куда ты? - закричал д'Аппаст. Сократ изобразил хреп:
- Спать. Скоро процессия. И уже на бегу снова захрапел.

Мэр только хотел предоставить д'Аппасту почетное место, чтобы тот лучше разглядел процессию. Он объяснил это инженеру и предложил разделить с ним мясное блюдо и рис, способный исцелить паралитика. Сначала они расположились в доме судьи на балконе против церкви, чтобы увидеть выход кортежа. Потом они пойдут в мэрию по главной улице, ведущей к церковной площади, по которой на обратном пути проследуют кающиеся. Судья и шеф полиции будут сопровождать д'Аппаста, сам мэр предпочитал участвовать в церемонии. Шеф полиции действительно оказался в зале клуба и непрерывно вертелся вокруг д'Аппаста с неугасающей улыбкой на устах, расточая непонятные ему, но явно прочувствованные речи. Когда д'Аппаст спустился, шеф полиции бросился прокладывать ему дорогу, открывая перед ним все двери.

Под тяжелым жарким солнцем во все еще пустынном городе два человека направлялись к дому судьи. Их одинокие шаги эхом отдавались в тишине. Но вдруг на ближней улице разорвалась петарда, и над всеми домами взлетели стаи отяжелевших ястребов с облезлыми шеями. Почти сразу же со всех сторон взорвались десятки петард, пооткрывались двери, люди стали выходить из домов и заполнять узкие улочки. Судья засвидетельствовал д'Аппасту, как он горд возможностью принять его в своем недостойном доме и пригласил его подняться этажом выше по красивой барочной лестнице. Когда д'Аппаст поднимался, на лестничной площадке открылись двери, высунулись темные головки детей, тут же с подавленным смехом исчезнувшие. В красивой зале для почетных гостей была только плетеная мебель и клетки с оглушительно верещавшими птицами. Балкон, где они расположились, выходил на небольшую площадь у церкви. Понемногу ее заполняла странно молчаливая толпа, неподвижная под зноем, ниспадавшем с неба почти видимыми потоками. Только дети бегали вокруг площади, резко останавливаясь, чтобы поджечь петарды: взрывы следовали один за другим. С балкона церковь со своими оштукатуренными стенами, с десятком ступеней, побеленных голубой известью и двумя голубыми с золотом башнями казалась меньше.

Внезапно из церкви полились звуки органа. Толпа, обращенная лицом к портику, выстроилась по краям площади. Мужчины сняли свои головные уборы, женщины опустились на колени. Отдаленный орган долго играл разные марши. Потом со стороны леса донесся странный шум крыльев. Крохотный самолетик с прозрачными крыльями и хрупким корпусом, диковинный в этом вневременном мире, появился над деревьями, немного снизился над площадью и пролетел с рокотом большой трещотки над поднятыми к нему головами. Потом он развернулся и удалился к лиману. Но в тени церкви снова привлекла внимание непонятная суматоха. Орган смолк, смененный теперь духовыми инструментами и барабанами, невидимыми под портиком. Темнокожие кающиеся, облаченные в черные стихари, по одному вышли из церкви, собрались на паперть, затем стали спускаться по ступенькам. За ними шли белые кающиеся, несущие алые и голубые хоругви, далее маленькая группа наряженных ангелами мальчиков, братство детей Марии, с черными серьезными лициками, и наконец на разноцветной раке, несомой почетными горожанами, потеющими в своих темных костюмах, появилось изображение самого доброго Иисуса с тростником в руке и головой в терниях, кровоточащего и покачивающегося над толпой.

Когда раку спустили со ступенек, произошла остановка, во время которой кающиеся попытались выстроиться. Именно тогда д'Аппаст увидел бородатого кока. Тот только что вышел на паперть, с обнаженным торсом, он нес на голове огромную прямоугольную глыбу, которая покоилась на пробковой доске прямо на его черепе. Твердым шагом спустился он по ступеням церкви, дуги его коротких мускулистых рук удерживали камень в горизонтальном положении. Как только он дошел до раки, процессия двинулась вперед. Из портика появились музыканты, одетые в яркие куртки и вовсю трубящие в свои украшенные лентами трубы. При этих звуках кающиеся ускорили шаг и достигли одной из улиц, выходящих на площадь. Когда рака исчезла вместе с ними, в поле видимости остался только кок и последние музыканты. Под взрывы петард за ними двинулась толпа, в то время как самолет со скрежещущим лязгом поршней снова пронесся над последними группами. д'Аппаст смотрел только на кока, который был теперь уже далеко, плечи его, как показалось д'Аппасту, сгибались. Но на таком расстоянии он плохо видел.

По пустынным улицам, проходя закрытые магазины и запертые двери, судья, шеф полиции и д'Аппаст дошли до мэрии. По мере того как они удалялись от фанфар и взрывов, тишина снова овладевала городом, и несколько ястребов уже возвращались, чтобы занять свои места на крышах, казалось, они пребывали там вечно. Мэрия выходила на узкую, но длинную улицу, ведущую от одного из внешних кварталов к церковной площади. Сейчас она была безлюдной. С балкона мэрии, насколько хватало глаз, видна была только ухабистая мостовая, где недавний дождь оставил несколько луж. Немного опустившееся солнце еще глядело слепые фасады домов по другую сторону улицы.

Они ждали долго, так долго, что д'Аппаст, вынужденный смотреть на отблески солнца на противоположной стене, снова почувствовал, как возвращаются его усталость и головокружение. Пустая улица с опустевшими домами одновременно притягивала его и вызывала отвращение. И снова ему захотелось бежать из этой страны; в то же время он думал об этом огромном камне, ему хотелось, чтобы это испытание побыстрее закончилось. Он только собирался предложить спуститься вниз, чтобы узнать новости, когда вовсю начали трезвонить церковные колокола. В тот же миг в другом конце улицы, слева от них, поднялась суматоха, и появилась возбужденная толпа. Издалека было видно, как она прижалась к раке, паломники и кающиеся вперемешку двинулись вперед по узкой улице среди взрывов петард и рева толпы. За несколько секунд они заполнили ее, приближаясь к мэрии в неописуемом беспорядке, люди всех возрастов, различных рас, в самых разных костюмах слились в одну пеструю лавину с вытаращенными глазами и вопящими ртами; из всей этой массы, как копья, торчали бесчисленные свечи, пламя которых испарялось в пылающем свете дня. Но когда они подошли ближе, и, казалось, толпа под балконом поднимается по стенам, такой она стала плотной, д'Аппаст увидел, что кока там не было.

Внезапно, даже не извинившись, он вышел с балкона, сбежал по лестнице и очутился на улице в громе колоколов и петард. Там ему пришлось выдержать напор лиżąщей толпы паломников со свечами, которых, казалось, смущало происходящее. Но, непрестанно раздвигая всем своим весом толщу людей, он расчистил путь столь решительно, что даже покачнулся и чуть не упал, когда оказался позади толпы, на краю улицы. Прижавшись к раскаленной стене, он подождал, пока восстановится дыхание и двинулся вперед. В тот же момент на улице появилась группа людей.

Первые шли пятясь, и д'Аппаст увидел, что они окружают кока.

Тот был явно изнурен. Он останавливался, потом, согнувшись под огромным камнем, немного пробегал торопливыми шагами грузчиков или кули, рысцой нищеты, ставя ногу на землю всей стопой. Когда он останавливался, кающиеся в испачканных расплавленным воском и пылью стихарях подбадривали его. Слева молча шел или бежал его брат. Д'Аппасту показалось, что прошло бесконечно много времени, пока они преодолели пространство, отделявшее их от него. Почти рядом с ним кок снова остановился и бросил вокруг себя угасший взгляд. Увидев д'Аппаста, казалось, не узнавая его, он, однако, остановился и повернулся к нему. Маслянистый, грязный пот покрывал его посеревшее лицо, борода была в струйках слюны, коричневая засохшая пена склеивала ему губы. Он попытался улыбнуться. Но, неподвижный под своим грузом, он дрожал всем телом, только мышцы плеч были судорожно напряжены. Брат кока, узнавший д'Аппаста, быстро бросил ему:

- Он уже падал.

И появившийся неизвестно откуда Сократ прошептал ему в ухо:

- Много танцевать, месье д'Аппаст, всю ночь. Он устал.

Кок снова двинулся вперед своей прерывистой рысцой, но не как человек, стремящийся продвигаться вперед, а как бы убегая от раздавливающей его тяжести, в надежде облегчить ее с помощью движения. Д'Аппаст, сам не зная как, очутился по правую сторону от него. Он легко положил на спину кока руку и пошел рядом мелкими торопливыми и неуклюжими шагами. На другом конце улицы рака исчезла, и толпа, теперь заполнившая площадь, как будто остановилась. Несколько мгновений кок с братом и д'Аппастом по бокам продвигался вперед.

Вскоре только двадцать метров отделяли его от группы, столпившейся у мэрии, чтобы увидеть его. Однако он снова остановился. Рука д'Аппаста стала тверже.

- Ну же, кок, - проговорил он, - еще немного. Тот дрожал, слюна снова потекла у него изо рта, в то время как по всему его телу струился пот. Он сделал вдох, пытаясь вдохнуть поглубже, и резко остановился. Потом еще подался вперед, сделал три шага и покачнулся. И вдруг камень заскользил у него по плечу, глубоко его порезав, готовый упасть на землю; потеряв равновесие, кок рухнул на бок. Те, что шли впереди, подбадривая его, с громкими криками подались назад, один из них схватил пробковую доску, а другие подхватили камень, чтобы снова навычить его на кока.

Склонившийся над ним д'Аппаст вытирал рукой испачканное кровью и пылью плечо, в то время как низкорослый кок, уткнувшись лицом в землю, задыхался. Он ничего не

слышал и больше не шевелился. Его рот жадно открывался при каждом вдохе, как если бы он был последним. д'Аппаст взял его в охапку и легко поднял его, будто это был ребенок. Он поддерживал его в стоячем положении, прижав к себе. Наклонившись всем своим телом, он говорил ему прямо в лицо, желая вдохнуть в него свою силу. И вот уже окровавленный и покрытый пылью кок оторвался от него с диким выражением лица. Качаясь, он снова направился к камню, который остальные немного приподняли. Но, остановившись, отсутствующим взглядом посмотрел на камень и покачал головой. Потом уронил руки вдоль тела и повернулся к д'Аппасту. Крупные слезы медленно текли по его опустошенному лицу. Он пытался заговорить, но не мог произнести ни слова.

- Ведь я дал обет, - наконец пролепетал он. И потом:

- Ах, капитан! Ах, капитан! - голос его потонул в слезах.

За его спиной появился брат, обнял его, и кок, плача, откинув голову, прижался к нему, побежденный, сдавшийся.

д'Аппаст смотрел на него, не находя слов. Он повернулся к толпе, которая снова что-то кричала вдалеке. И вдруг вырвал пробковую доску из чьих-то рук и направился к камню. Он подал остальным знак поднять его и почти без усилий водрузил его на себя. Немного осев под тяжестью камня, напрягая плечи и слегка отдуваясь, он смотрел себе под ноги, слыша рыдания кока. Потом тронулся мощным шагом, не замедляя его, одолел пространство, отделяющее его от толпы и решительно врезался в первые ряды, расступившиеся перед ним. Он вошел на площадь под гром колоколов и петард, между двумя рядами расступившихся зрителей, глядевших на него с молчаливым изумлением. Он продвигался тем же решительным шагом, и толпа открывала ему путь вплоть до церкви. Несмотря на тяжесть, давящую ему на голову и затылок, тяжесть, которую он ощущал все более, он увидел церковь и раку, казалось, ожидавшую его на пирати. Он шел к ней и уже прошел центр площади, когда вдруг круто, сам не зная почему, свернул налево и отклонился от дороги к церкви, вынуждая паломников противостоять ему. За спиной он услышал торопливые шаги, увидел, как перед ним со всех сторон открывались рты. Он не понимал, что люди кричали ему, хотя ему казалось, что он узнал португальское слово, которое все непрестанно выкрикивали. Вдруг перед ним возник Сократ, он испуганно таращил глаза, говорил бессвязно и показывал ему на дорогу к церкви.

- К церкви! К церкви! - выкрикивал Сократ вместе с толпой.

Но д'Аппаст продолжал свой путь. И Сократ посторонился, поспешно воздев руки к небу, в то время как толпа мало-момалу смолкла. Когда д'Аппаст вошел на первую улицу, по которой он уже проходил с коком и которая, как он знал, вела к низшим кварталам, площадь осталась у него за спиной, напоминая о себе лишь неясным гулом.

Камень теперь сильно давил на череп, и ему понадобилась вся сила его больших рук, чтобы облегчить ношу. Плечи его уже утрачивали свою гибкость, когда он дошел до первых улиц, образующих скользкий спуск. Он остановился и прислушался. Он был один. Поправив камень на пробковой доске, д'Аппаст остался, но все еще твердым шагом спустился до квартала хижин. Когда он туда добрался, у него перехватило дыхание, руки, поддерживающие камень, дрожали. Он ускорил шаг и наконец вышел на маленькую площадку, где стояла хижина кока, подбежал к ней, открыл ногой дверь и одним движением бросил камень в центр комнаты на еще тлеющий очаг. И там, выпрямившись во весь свой, внезапно показавшийся выше обычного рост, вдыхая отрывистыми глотками запах нищеты и пепла, запах, который он теперь узнавал, д'Аппаст вдруг ощутил, как в нем вздымается волна непонятной и трепещущей радости, имени которой он не знал.

Когда вернулись обитатели хижины, они увидели д'Аппаста, он стоял с закрытыми глазами, прислонясь к стене. В центре комнаты на месте очага лежал камень, наполовину зарывшийся в почву и покрытый пеплом и землей. Не входя, они стояли на пороге и тихо, с немым вопросом глядели на д'Аппаста. Но он молчал. Тогда брат подвел к камню кока, который опустился на пол. Брат тоже сел, подав знак остальным. К нему присоединилась старуха, затем та девушка из ночи, никто больше не смотрел на д'Аппаста. Все сели вокруг камня и хранили молчание. Только ропот реки проникал к ним сквозь тяжелый воздух. Стоя в тени, д'Аппаст слушал, ничего не видя, и шум воды наполнял его душу бурным ликованием. С закрытыми глазами он радостно благословлял собственную силу, снова приветствовал возродившуюся в нем жизнь. В то же мгновение тишину разорвал взрыв, показавшийся совсем близким. Брат немного отодвинулся от кока и, полуобернувшись к д'Аппасту, не глядя на него, показал на свободное место:

- Сядь с нами.

This file was created
with BookDesigner program
bookdesigner@the-ebook.org
07.07.2015

Камю Альбер Изгнание и царство filosoff.org

Спасибо, что скачали книгу в бесплатной электронной библиотеке
<http://filosoff.org/> Приятного чтения!

<http://buckshee.petimer.ru/> Форум Бакши buckshee. Спорт, авто, финансы, недвижимость. Здоровый образ жизни.

<http://petimer.ru/> Интернет магазин, сайт Интернет магазин одежды Интернет магазин обуви Интернет магазин

<http://worksites.ru/> Разработка интернет магазинов. Создание корпоративных сайтов. Интеграция, Хостинг.

<http://dostoevskiyfyodor.ru/> Приятного чтения!